

Александр
ФАДЕЕВ

Молодая гвардия



Русская классика (Эксмо)

Александр Фадеев

Молодая гвардия

«Эксмо»

1943-45

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Фадеев А. А.

Молодая гвардия / А. А. Фадеев — «Эксмо»,
1943-45 — (Русская классика (Эксмо))

ISBN 978-5-699-82340-6

Перед вами первая редакция романа «Молодая гвардия», возможно, стоившая его автору – Александру Фадееву жизни. В годы ВОВ А. Фадеев был корреспондентом «Правды» и «Совинформбюро». После освобождения г. Краснодона он приехал в город и познакомился с деятельностью подпольной организации «Молодая гвардия» и был потрясен подвигом вчерашних школьников. В 1946 году вышел одноименный с названием подпольной организации роман, получивший широчайшее народное признание, но в 1947 году был подвергнут резкой критике в газете «Правда»...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-82340-6

© Фадеев А. А., 1943-45
© Эксмо, 1943-45

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	19
Глава 4	26
Глава 5	32
Глава 6	37
Глава 7	43
Глава 8	49
Глава 9	56
Глава 10	60
Глава 11	64
Глава 12	71
Глава 13	77
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Александр Фадеев

Молодая гвардия

*Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе!
Штыками и картечью проложим путь себе...
Чтоб труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял,
В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!*
Песня молодежи

© Фадеев А.А., наследник, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

Глава 1

– Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть... Точно изваяние, – но из какого чудесного материала! Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа, – человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это ее отражение в воде, – даже трудно сказать, какая из них прекрасней, – а краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков – желтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная, – у людей таких и красок и названий-то нет!..

Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, девушка с черными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в темной воде.

– Нашла время любоваться! И чудная ты, Уля, ей-богу! – отвечала ей другая девушка, Валя, вслед за ней высунувшая на речку чуть скуластое и чуть курносенькое, но – очень милое свежей своей молодостью и добротой лицо. И, не взглянув на лилию, беспокойно искала взглядом по берегу девушек, от которых они отбились. – Ау!..

– Ау... ау... у-у!.. – отозвались на разные голоса совсем рядом.

– Идите сюда!.. Уля нашла лилию, – сказала Валя, любовно-насмешливо взглянув на подругу.

И в это время снова, как отзвуки дальнего грома, слышались перекаты орудийных выстрелов – оттуда, с северо-запада, из-под Ворошиловграда.

– Опять!

– Опять... – беззвучно повторила Уля, и свет, с такой силой хлынувший из глаз ее, потух.

– Неужто они войдут на этот раз! Боже мой! – сказала Валя. – Помнишь, как в прошлом году переживали? И все обошлось! Но в прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, как бухает?

Они помолчали прислушиваясь.

– Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, – мне делается так больно, словно все это уже ушло от меня навсегда, навсегда, – грудным волнующимся голосом заговорила Уля. – Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже приучила ее не допускать в себя ничего, что может размягчить ее, и вдруг прорвется такая любовь, такая жалость ко всему!.. Ты знаешь, я ведь только тебе могу говорить об этом.

Лица их среди листвы сошлись так близко, что дыхание их смешивалось, и они прямо глядели в глаза друг другу. У Вали глаза были светлые, добрые, широко расставленные, они с покорностью и обожанием встречали взгляд подруги. А у Ули глаза были большие, темные, – не глаза, а очи, с длинными ресницами, молочными белками, черными таинственными зрачками, из самой, казалось, глубины которых снова струился этот влажный сильный свет.

Дальние гулкие раскаты орудийных залпов, даже здесь, в низине у речки, отдававшиеся легким дрожанием листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались на лицах девушек. Но все их душевные силы были отданы тому, о чем они говорили.

– Ты помнишь, как хорошо было вчера в степи вечером, помнишь? – понизив голос, спрашивала Уля.

– Помню, – прошептала Валя. – Этот закат. Помнишь?

– Да, да... Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, она скучная, рыжая, холмы да холмы, будто она бесприютная, а я люблю ее. Помню, когда мама еще была здоровая, она работает на баштане, а я, совсем еще маленькая, лежу себе на спине и гляжу высоко, высоко, думаю,

ну как высоко я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в самую высочину? И мне вчера так больно стало, когда мы смотрели на закат, а потом на этих мокрых лошадях, пушки, повозки, на раненых... Красноармейцы идут такие измученные, запыленные. Я вдруг с такой силой поняла, что это никакая не перегруппировка, а идет страшное, да, именно страшное, отступление. Поэтому они и в глаза боятся смотреть. Ты заметила?

Валя молча кивнула головой.

– Я как посмотрела на степь, где мы столько песен спели, да на этот закат, и еле слезы сдержала. А ты часто видела меня, чтобы я плакала? А помнишь, когда стало темнеть?.. Эти всё идут, идут в сумерках, и все время этот гул, вспышки на горизонте и зарево, – должно быть, в Ровеньках, – и закат такой тяжелый, багровый. Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить... что-то грозное нависло над нашими душами, – сказала Уля, и мрачный, тусклый огонь позолотил ее очи.

– А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка? – сказала Валя с выступившими на глаза слезами.

– Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали! – сказала Уля. – Но что же делать, что же делать! – совсем другим, детским голоском нараспев сказала она, и в глазах ее заблестело озорное выражение.

Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, подхватив в узкую загорелую жмению подол темной юбки, смело вошла в воду.

– Девочки, лилия!.. – воскликнула выскочившая из кустов тоненькая и гибкая, как тростинка, девушка с мальчишескими отчаянными глазами. – Нет, чур моя! – взвизгнула она и, резким движением подхватив обеими руками юбку, блеснув смуглыми босыми ногами, прыгнула в воду, обдав и себя и Улю веером янтарных брызг. – Ой, да тут глубоко! – со смехом сказала она, провалившись одной ногой в водоросли и пятясь.

Девушки – их было еще шестеро – с шумным говором высыпали на берег. Все они, как и Уля, и Валя, и только что прыгнувшая в воду тоненькая девушка Саша, были в коротких юбках, в простеньких кофтах. Донецкие каленые ветры и палящее солнце, будто нарочно, чтобы оттенить физическую природу каждой из девушек, у той позолотили, у другой посмуглили, а у иной прокалили, как в огненной купели, руки и ноги, лицо и шею до самых лопаток.

Как все девушки на свете, когда их собирается больше двух, они говорили, не слушая друг друга, так громко, отчаянно, на таких предельно-высоких, визжащих нотах, будто все, что они говорили, было выражением уже самой последней крайности и надо было, чтобы это знал, слышал весь белый свет.

– ...Он с парашютом сиганул, ей-богу! Такой славненький, кучерявенький, беленький, глазки, как пугозички!

– А я б не могла сестрой, право слово, – я крови ужас как боюсь!

– Да неужто ж нас бросят, как ты можешь так говорить! Да быть того не может!

– Ой, какая лилия!

– Майечка, цыганочка, а если бросят?

– Смотри, Сашка-то, Сашка-то!

– Так уж сразу и влюбиться, что ты, что ты!

– Улька, чудик, куда ты полезла?

– Еще утонете, скаженные!..

Они говорили на том характерном для Донбасса смешанном грубоватом наречии, которое образовалось от скрещения языка центральных русских губерний с украинским народным говором, донским казачьим диалектом и разговорной манерой азовских портовых городов – Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону. Но как бы ни говорили девушки по всему белу свету, все становится милым в их устах.

– Улечка, и зачем она тебе сдалась, золотко мое? – говорила Валя, беспокойно глядя добрыми, широко расставленными глазами, как уже не только загорелые икры, но и белые круглые колени подруги ушли под воду.

Осторожно нащупывая поросшее водорослями дно одной ногой и выше подобрав подол, так что видны стали края ее черных штанишек, Уля сделала еще шаг и, сильно перегнувшись, свободной рукой подцепила лилию. Одна из тяжелых черных кос с пушистым расплетенным концом опрокинулась в воду и поплыла, но в это мгновение Уля сделала последнее, одними пальцами, усилие и выдернула лилию вместе с длинным-длинным стеблем.

– Молодец, Улька! Своим поступком ты вполне заслужила звание героя союза... Не всего Советского Союза, а скажем, нашего союза неприкаянных девчат с рудника Первомайки! – стоя по икры в воде и тараща на подругу округлившись мальчишеские карие глаза, говорила Саша. – Давай квяток! – И она, зажав между колен юбку, своими ловкими тонкими пальцами вправила лилию в черные, крупно выющиеся по вискам и в косах Улины волосы. – Ой, как идет тебе, аж завидки берут!.. Обожди, – вдруг сказала она, подняв голову и прислушиваясь. – Скребется где-то... Слышите, девочки? Вот проклятый!..

Саша и Уля быстро вылезли на берег.

Все девушки, подняв головы, прислушивались к прерывистому, то тонкому, осинному, то низкому, урчащему, рокоту, стараясь разглядеть самолет в раскаленном добела воздухе.

– Не один, а целых три!

– Где, где? Я ничего не вижу...

– Я тоже не вижу, я по звуку слышу...

Вибрирующие звуки моторов то сливались в одно нависающее грозное гудение, то падали на отдельные, пронзительные или низкие, рокошующие звуки. Самолеты гудели уже где-то над самой головой, и, хотя их не было видно, точно черная тень от их крыльев прошла по лицам девушек.

– Должно быть, на Каменск полетели, переправу бомбить...

– Или на Миллерово.

– Скажешь – на Миллерово! Миллерово сдали, разве не слыхала сводку вчера?

– Все одно, бои идут южнее.

– Что же нам делать, девчата? – говорили девушки, снова невольно прислушиваясь к раскатам дальней артиллерийской стрельбы, которая, казалось, приблизилась к ним.

Как ни тяжела и ни страшна война, какие бы жестокие потери и страдания ни несла она людям, юность с ее здоровьем и радостью жизни, с ее наивным добрым эгоизмом, любовью и мечтами о будущем не хочет и не умеет за общей опасностью и страданием видеть опасность и страдание для себя, пока они не нагрянут и не нарушат ее счастливой походки.

Уля Громова, Валя Филатова, Саша Бондарева и все остальные девушки только этой весной окончили школу-десятилетку на руднике Первомайском.

Окончание школы – это немаловажное событие в жизни молодого человека, а окончание школы в дни войны – это событие совсем особенное.

Все прошлое лето, когда началась война, школьники старших классов, мальчики и девочки, как их все еще звали, работали в прилегающих к городу Краснодону колхозах и совхозах, на шахтах, на паровозостроительном заводе в Ворошиловграде, а некоторые ездили даже на Сталинградский тракторный, делавший теперь танки.

Осенью немцы вторглись в Донбасс, заняли Таганрог и Ростов-на-Дону. Из всей Украины одна Ворошиловградская область еще оставалась свободной от немцев, и власть из Киева, отступавшая с частями армии, перешла в Ворошиловград, а областные учреждения Ворошиловграда и Сталино, бывшей Юзовки, расположились теперь в Краснодоне.

До глубокой осени, пока установился фронт на юге, люди из занимаемых немцами районов Донбасса всё шли и шли через Краснодон, месяя рыжую грязь по улицам, и казалось,

грязи становится все больше и больше оттого, что люди наносят ее со степи на своих чоботах. Школьники совсем было приготовились к эвакуации в Саратовскую область вместе со своей школой, но эвакуацию отменили. Немцы были задержаны далеко за Ворошиловградом, Ростов-на-Дону у немцев отбили, а зимой немцы понесли поражение под Москвой, началось наступление Красной Армии, и люди надеялись, что все еще обойдется.

Школьники привыкли к тому, что в их уютных квартирах, в стандартных каменных, под этернитовыми крышами домиках в Краснодаре, и в хуторских избах Первомайки, и даже в глиняных мазанках на Шанхае – в этих маленьких квартирках, казавшихся в первые недели войны опустевшими оттого, что ушел на фронт отец или брат, – теперь живут, ночуют, меняются чужие люди: работники пришедших учреждений, бойцы и командиры ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной Армии.

Они научились распознавать все роды войск, воинские звания, виды оружия, марки мотоциклов, грузовых и легковых машин, своих и трофейных, и с первого взгляда разгадывали типы танков – не только тогда, когда танки тяжело отдыхали где-нибудь сбоку улицы, под прикрытием тополей, в мареве струящегося от брони раскаленного воздуха, а и когда, подобно грому, катились по пыльному ворошиловградскому шоссе и когда буксовали по осенним, расползшимся, и по зимним, заснеженным, военным шляхам на запад.

Они уже не только по обличью, а и по звуку различали свои и немецкие самолеты, различали их и в пылающем от солнца, и в красном от пыли, и в звездном, и в черном, несущемся вихрем, как сажа в аду, донецком небе.

– Это наши «лаги» (или «миги», или «яки»), – говорили они спокойно.

– Вон «мессера» пошли!..

– Это «Ю-87» пошли на Ростов, – небрежно говорили они.

Они привыкли к ночным дежурствам по отряду ПВХО, дежурствам с противогазом через плечо, на шахтах, на крышах школ, больниц, и уже не содрогались сердцем, когда воздух сотрясся от дальней бомбежки и лучи прожекторов, как спицы, скрещивались вдаль, в ночном небе над Ворошиловградом, и зарева пожаров вставали то там, то здесь по горизонту, и когда вражеские пикировщики среди бела дня, внезапно вывернувшись из глубины небес, с воем обрушивали фугаски на тянувшиеся далеко в степи колонны грузовиков, а потом долго еще били из пушек и пулеметов вдоль по шоссе, от которого в обе стороны, как распоротая глицером вода, разбегались бойцы и кони.

Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни во весь голос на ветру с грузовиков в степи, летнюю страду среди необъятных пшениц, изнемогающих под тяжестью зерна, душевные разговоры и внезапный смех в ночной тиши, где-нибудь в овсяной полове, и долгие бессонные ночи на крыше, когда горячая ладонь девушки, не шелохнувшись, и час, и два, и три покоится в шершавой руке юноши, и утренняя заря занимается над бледными холмами, и роса блестит на серовато-розовых этернитовых крышах, на красных помидорах и каплет со свернувшихся желтеньких, как цветы мимозы, осенних листочков акаций прямо на землю в палисаднике, и пахнет загнивающими в сырой земле корнями отвянувших цветов, дымом дальних пожаров, и петух кричит так, будто ничего не случилось...

И вот этой весной они окончили школу, простились со своими учителями и организациями, и война, точно она их ждала, глянула им прямо в очи.

23 июня наши войска отошли на Харьковском направлении. 2 июля завязались бои на Белгородском и Волчанском направлениях с перешедшим в наступление противником. А 3 июля, как гром, разразилось сообщение по радио, что нашими войсками после восьмимесячной обороны оставлен город Севастополь.

Старый Оскол, Россошь, Кантемировка, бои западнее Воронежа, бои на подступах к Воронежу, 12 июля – Лисичанск. И вдруг хлынули через Краснодон наши отступающие части.

Лисичанск – это было уже совсем рядом. Лисичанск – это значило, что завтра в Ворошиловград, а послезавтра сюда, в Краснодон и Первомайку, на знакомые до каждой травинки улочки с пыльными жасминами и сиренями, выпирающими из палисадников, в дедов садочек с яблонями и в прохладную, с закрытыми от солнца ставенками, хату, где еще висит на гвозде, направо от дверей, шахтерская куртка отца, как он ее сам повесил, придя с работы, перед тем как идти в военкомат, – в хату, где материнские теплые, в жилочках, руки вымыли до блеска каждую половицу и полили китайскую розу на подоконнике, и набросили на стол пахнущую свежестью сурового полотна цветастую скатерку, – может войти, войдет немец!

В городе так прочно, будто на всю жизнь, обосновались очень положительные, рассудительные, всегда всё знавшие бритые майоры-интенданты, которые с веселыми прибаутками перекидывались с хозяевами в карты, покупали на базаре соленые кавуны, охотно объясняли положение на фронтах и при случае даже не щадили консервов для хозяйского борща. В клубе имени Горького при шахте № 1-бис и в клубе имени Ленина в городском парке всегда крутилось много лейтенантов, любителей потанцевать, веселых и не то обходительных, не то озорных – не поймешь. Лейтенанты то появлялись в городе, то исчезали, но всегда наезжало много новых, и девушки так привыкли к их постоянно меняющимся загорелым мужественным лицам, что все они казались уже одинаково своими.

И вдруг их сразу никого не стало.

На станции Верхнедудуанной, этом мирном полустанке, где, возвращаясь из командировки или поездки к родне, или на летние каникулы после года учения в вузе, каждый краснодонец считал себя уже дома, – на этой Верхнедудуанной и по всем другим станциям железной дороги на Лихую – Морозовскую – Сталинград грудились станки, люди, снаряды, машины, хлеб.

Из окон домиков, затененных акациями, кленочками, тополями, слышался плач детей, женщин. Там мать снаряжала ребенка, уезжавшего с детским домом или школой, там провожали дочь или сына, там муж и отец, покидавший город со своей организацией, прощался с семьей. А в иных домиках с закрытыми наглухо ставнями стояла такая тишина, что еще страшнее материнского плача, – дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха-мать, проводив всю семью, опустив черные руки, неподвижно сидела в горнице, не в силах уже и плакать, с железною мукою в сердце.

Девушки просыпались утром под звуки дальних оружейных выстрелов, ссорились с родителями, – девушки убеждали родителей уезжать немедленно и оставить их одних, а родители говорили, что жизнь их уже прошла, а вот девушкам-комсомолкам надо уходить от греха и беды, – девушки наскоро завтракали и бежали одна к другой за новостями. И так, сбившись в стайку, как птицы, изнемогая от жары и неприкаянности, они то часами сидели в полутемной горенке у одной из подруг или под яблоней в садочке, то убегали в тенистую лесную балку у речки, в тайном предчувствии несчастья, какое они даже не в силах были охватить ни сердцем, ни разумом.

И вот оно разразилось.

– Ворошиловград уже, поди, сдали, а нам не говорят! – резким голосом сказала маленькая широколицая девушка с остреньким носом, блестящими гладкими, точно приклеенными, волосами и двумя короткими и бойкими, торчащими вперед косицами.

Фамилия этой девушки была Вырикова, а звали ее Зиной, но с самого детства никто в школе не звал ее по имени, а только по фамилии: Вырикова да Вырикова.

– Как ты можешь так рассуждать, Вырикова? Не говорят – значит, еще не сдали, – сказала Майя Пегливанова, природно смуглая, как цыганка, красивая черноокая девушка, и самолюбиво поджала нижнюю полную своевольную губку.

В школе, до выпуска этой весной, Майя была секретарем комсомольской организации, привыкла всех поправлять и всех воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы всегда все было правильно.

– Мы давно знаем всё, что ты можешь сказать: «Девочки, вы не знаете диалектики!» – сказала Вырикова, так похоже на Майю, что все девушки засмеялись. – Скажут нам правду, держи карман поуже! Верили, верили и веру потеряли! – говорила Вырикова, посверкивая близко сведенными глазами и, как жучок – рожки, воинственно топыря свои торчащие вперед острые косицы. – Наверно, опять Ростов сдали, нам и тикать некуда. А сами драпают! – сказала Вырикова, видимо, повторяя слова, которые она часто слышала.

– Странно ты рассуждаешь, Вырикова, – стараясь не повышать голоса, говорила Майя. – Как можешь ты так говорить? Ведь ты же комсомолка, ты ведь была пионервожатой!

– Не связывайся ты с ней, – тихо сказала Шура Дубровина, молчаливая девушка постарше других, коротко остриженная по-мужски, безбровая, с диковатыми светлыми глазами, придававшими ее лицу странное выражение.

Шура Дубровина, студентка Харьковского университета, в прошлом году, перед занятием Харькова немцами, бежала в Краснодар к отцу, сапожнику и шорнику. Она была года на четыре старше остальных девушек, но всегда держалась их компании; она была тайно, по-девичьи, влюблена в Майю Пегливанову и всегда и везде ходила за Майей, – «как нитка за иголкой», говорили девушки.

– Не связывайся ты с ней. Коли она уже такой колпак надела, ты ее не переколпачишь, – сказала Шура Дубровина Майе.

– Все лето гоняли окопы рыть, сколько на это сил убили, я так месяц болела, а кто теперь в этих окопах сидит? – не слушая Майи, говорила маленькая Вырикова. – В окопах трава растет! Разве не правда?

Тоненькая Саша с деланным удивлением приподняла острые плечи и, посмотрев на Вырикову округлившимися глазами, протяжно свистнула.

Но, видно, не столько то, что говорила Вырикова, сколько общее состояние неопределенности заставляло девушек с болезненным вниманием прислушиваться к ее словам.

– Нет, в самом деле, ведь положение ужасное? – робко взглядывая то на Вырикову, то на Майю, сказала Тоня Иванихина, самая младшая из девушек, крупная, длинноногая, почти девочка, с крупным носом и толстыми, заправленными за крупные уши прядями темно-каштановых волос. В глазах у нее заблестели слезы.

С той поры как в боях на Харьковском направлении пропала без вести ее любимая старшая сестра Лиля, с начала войны ушедшая на фронт военным фельдшером, все, все на свете казалось Тоне Иванихиной непоправимым и ужасным, и ее унылые глаза всегда были на мокром месте.

И только Уля не принимала участия в разговоре девушек и, казалось, не разделяла их возбуждения. Она расплела замокший в реке конец длинной черной косы, отжала волосы, заплела косу, потом, выставя на солнце то одну, то другую мокрые ноги, некоторое время постояла так, нагнув голову с этой белой лилией, так шедшей к ее черным глазам и волосам, точно прислушиваясь к самой себе. Когда ноги обсохли, Уля продолговатой ладонью обтерла подошвы загорелых по высокому суховатому подъему и словно обведенных светлым ободком по низу ступней, обтерла пальцы и пятки и ловким привычным движением сунула ноги в туфли.

– Эх, дура я, дура! И зачем я не пошла в спецшколу, когда мне предлагали? – говорила тоненькая Саша. – Мне предлагали в спецшколу энкаведе, – наивно разъяснила она, поглядывая на всех с мальчишеской беспечностью, – осталась бы я здесь, в тылу у немцев, вы бы даже ничего не знали. Вы бы тут все как раз зажурились, а я себе и в ус не дую. «С чего бы это Сашка такая спокойная?» А я, оказывается, здесь остаюсь от энкаведе! Я бы этими немцами-дурач-

ками, – вдруг фыркнула она, с лукавой издевкой взглянув на Вырикову, – я бы этими немцами-дурачками вертела, как хотела!

Уля подняла голову и серьезно и внимательно посмотрела на Сашу, и что-то чуть дрогнуло у нее в лице, то ли губы, то ли тонкие, с прихлынувшей кровью, причудливого выреза ноздри.

– Я без всякого энкаведе останусь. А что? – сердито выставя свои рожки-косицы, сказала Вырикова. – Раз никому нет дела до меня, останусь и буду жить, как жила. А что? Я учащаяся, по немецким понятиям, вроде гимназистки: все ж таки они культурные люди, что они мне сделают?

– Вроде гимназистки?! – вдруг вся порозовев, воскликнула Майя.

– Только что из гимназии, здрасте!

И Саша так похоже изобразила Вырикову, что девушки снова рассмеялись.

И в это мгновение тяжелый страшный удар, потрясший землю и воздух, оглушил их. С деревьев посыпались жухлые листки, сучочки, древесная пыль с коры, и даже по воде прошла рябь.

Лица у девушек побледнели, они несколько секунд молча глядели друг на друга.

– Неужто сбросил где-нибудь? – спросила Майя.

– Они ж давно пролетели, а новых не слышать было! – с расширенными глазами сказала Тоня Иванихина, всегда первая чувствующавшая несчастье.

В этот момент два взрыва, почти слившихся вместе, – один совсем близкий, а другой чуть запоздавший, отдаленный, – потрясли окрестности.

Словно по уговору, не издав ни звука, девушки кинулись к поселку, мелькая в кустах загорелыми икрами.

Глава 2

Девушки бежали по выжженной солнцем и вытоптанной овцами и козами настолько, что пыль взбивалась из-под ног, донецкой степи. Казалось невероятным, что их только что обнимала свежая лесная зелень. Балка, где протекала река с тянувшейся по ее берегам узкой полосой леса, была так глубока, что, отбежав триста-четырееста шагов, девушки не могли уже видеть ни балки, ни реки, ни леса, – степь поглотила все. Это не была ровная степь, как астраханская или сальская, – она была вся в холмах и балках, а далеко на юге и на севере вздымалась высокими валами по горизонту, этими выходами на поверхность земли крыльев гигантской синклинали, внутри которой, как в голубом блюде, плавал раскаленный добела воздух. То там, то здесь по изборожденному лицу этой выжженной голубой степи, на холмах и в низинах, виднелись рудничные поселки, хутора среди ярко и темно-зеленых и желтых прямоугольников пшеничных, кукурузных, подсолнуховых, свекловичных полей, одинокие копры шахт, а рядом – высокие, выше копров, темно-голубые конусы терриконов, образованных выброшенной из шахт породой. По всем дорогам, связывавшим между собой поселки и рудники, тянулись группы беженцев, стремившихся попасть на дороги на Каменск и на Лихую.

Отзвуки дальнего ожесточенного боя, вернее – многих больших и малых боев, шедших на западе и северо-западе и где-то совсем уже далеко на севере, были явственно слышны здесь, в открытой степи. Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными облаками лежали то там, то здесь по горизонту.

Девушкам, едва они выбежали из лесной балки, прежде всего бросились в глаза три новых очага дыма – два близких и один дальний – в районе самого города, еще не видного за холмами. Это были серые слабые дымки, медленно рассеивавшиеся в воздухе, и, может быть, девушки даже не обратили бы на них внимания, если бы не эти взрывы и не серный пороховой запах, все более чувствовавшийся по мере того, как девушки приближались к городу.

Они взбежали на круглый холм перед поселком Первомайским, и глазам их открылись и самый поселок, разбросанный по буграм и низинам, и шоссе из Ворошиловграда, пролежавшее здесь по гребню длинного холма, отделявшего поселок от города Краснодона. По всему видимому отсюда протяжению шоссе густо шли воинские части и беженцы и, обгоняя их, неистово ревя клаксонами, мчались машины – обыкновенные, гражданские, и военные, раскрашенные под зелень, побитые и пыльные, машины грузовые, легковые, санитарные. И рыжая пыль, вновь и вновь взбиваемая этим множеством ног и колес, витым валом стояла в воздухе на всем протяжении шоссе.

И тут случилось невозможное, непостижимое: железобетонный копер шахты № 1-бис, могучий корпус которого один из всех городских строений виден был по ту сторону шоссе, вдруг пошатнулся. Толстый веер взметенной ввысь породы на мгновение закрыл его, и новый страшный подземный удар, гулом раскатившийся по воздуху и где-то под ногами, заставил девушек содрогнуться. А когда все рассеялось, никакого копра уже не было. Темный, поблескивающий на солнце конус гигантского террикона неподвижно стоял на своем месте, а на месте копра клубами вздымался грязный желто-серый дым. И над шоссе, и над взбаламученным поселком Первомайским, и над не видимым отсюда городом, над всем окружающим миром стоял какой-то слитный протяжный звук, точно стон, в котором чуть всплескивали далекие человеческие голоса, – то ли они плакали, то ли проклинали, то ли стонали от муки.

Все это: и шоссе с бегущими людьми и машинами, и этот взрыв, потрясший небо и землю, и исчезновение копра, и стон людей, – все это одним мгновенным, слитным и страшным впечатлением обрушилось на девушек. И все чувства, стеснившиеся в их душах, вдруг пронизало одно невыразимое чувство, более глубокое и сильное, чем ужас за себя, – чувство разверзшейся перед ними бездны конца, конца всему.

– Шахты рвут!.. Девочки!..

Чей это был вопль? Кажется, Тони Иванихиной, но он точно вырвался из души каждой из них:

– Шахты рвут!.. Девочки!..

Они больше ничего не сказали, не успели, не смогли сказать друг другу. Группа их сама собой распалась: большинство девушек побежало в поселок, по домам, а Майя, Уля и Саша побежали ближней тропинкой через шоссе в город, в райком комсомола.

Но в ту самую секунду, как они, не сговариваясь, распались на две группы, Валя Филатова вдруг схватила любимую подругу за руку.

– Улечка! – сказала она робким, униженным, просящим голосом. – Улечка! Куда ты? Идем домой... – Она запнулась. – Еще что случится...

А Уля круто, всем корпусом обернулась к ней и молча взглянула на нее, – нет, даже не на нее, а как бы сквозь нее, в далекую-далекую даль, и в черных глазах ее было такое стремительное выражение, будто она летела, – должно быть, такое выражение глаз бывает у летящей птицы.

– Обожди, Улечка... – сказала Валя умоляющим голосом и притянула ее за руку, а другой, свободной рукой быстро вынула лилию из черных выющихся волос Ули и бросила на землю. Все это произошло так быстро, что Уля не только не успела подумать, зачем Валя сделала это, но просто не заметила этого. И вот они, не отдавая в том отчета, за все время их многолетней дружбы впервые побежали в разные стороны.

Да, трудно было поверить, что все это правда, но когда три девушки во главе с Майей Пегливановой пересекли шоссе, они убедились в этом своими глазами: рядом с гигантским конусовидным терриконом шахты № 1-бис уже не было стройного красавца-копра со всеми его могучими подъемными приспособлениями, только желто-серый дым всходил клубами к небу, наполняя все вокруг невыносимым серным запахом.

Новые взрывы, то более близкие, то отдаленные, потрясали землю и воздух.

По всем кварталам города, примыкавшим к шахте № 1-бис и отделенным от центра города глубокой балкой с протекающим по дну ее грязным, заросшим осокой ручьем и сплошь застроенной глинобитными, лепящимися друг к другу мазанками, – по всем этим кварталам, как вихрь, гуляла паника. Этот район, если не считать балки, был, как и центр городка, застроен одноэтажными каменными домиками, рассчитанными на две-три семьи. Домики крыты были черепицей или этернитом, перед каждым был разбит палисадник, частью возделанный под огород, частью засаженный цветами. Иные хозяева развели уже вишни, или сирень, или жасмин, иные высадили рядком, внутри, перед аккуратным крашеным заборчиком, молодые акации, кленочки. И вот на улицах среди этих аккуратных домиков и палисадников творилось такое, что наполнило души девушек необоримым смятением.

Люди бежали к шахте, но там, видно, стояла цепь милиционеров и не пускала, и навстречу катился другой поток людей, – бежавших от шахты, – в который вливались с улиц, со стороны рынка, разбегавшиеся с базара женщины-колхозницы, старики, подростки с корзинами и тачками с зеленью и снедью, повозки, запряженные лошадьми, и возы, запряженные волами, с хлебом и овощами, женщины-покупательницы со своими корзинками и сетками, прозванными досужими людьми «авоськами».

Все население высыпало из своих домиков в палисадники, на улицы, – одни из любопытства, другие выбрались вовсе целыми семьями, с узлами и мешками, с тачками, груженными семейным добром, где среди узлов сидели малые дети: иные женщины несли на руках младенцев. И эти уходившие на восток семьи образовали третий поток, стремившийся выбиться на дороги на Каменск и на Лихую.

Все это кричало, ругалось, плакало, тархтело, звенело. Тут же, продираясь сквозь месиво людей и возов, ползли грузовики с военным или гражданским имуществом, рыча

моторами, издавая истошные гудки. Люди пытались забраться на грузовики, – их сталкивали. Все это вместе и производило тот странный слитный протяжный звук, издали показавшийся девушкам стоном.

Женщина в толпе перехватила Майю за руку, и Саша Бондарева тоже остановилась возле них, а Уля, уже не заботившаяся о подругах, стремившаяся как можно скорее попасть в райком, бежала дальше по улице, грудью налетая на встречающих, как птица.

Зеленый грузовик, с ревом выползший из-за поворота, из-за балки, откинул Улю вместе с толпой к палисаднику одного из стандартных домиков. Если бы не калитка, Уля сбила бы с ног небольшого роста, белокурую, очень изящно сложенную, как выточенную, девушку со вздернутым носиком и прищуренными голубыми глазами, стоявшую у самой калитки, между двух свисавших над ней пыльных кустов сирени.

Как ни странно это было в такой момент, но, налетев на калитку и едва не сбив эту девушку, Уля в каком-то мгновенном озарении увидела эту девушку кружащейся в вальсе. Уля услышала даже музыку вальса, исполняемую духовым оркестром, и это видение вдруг больно и сладко пронзило сердце Ули, как видение счастья.

Девушка кружилась на сцене и пела, кружилась в зале и пела, она кружилась до утра со всеми без разбора, она никогда не уставала и никому не отказывала покружиться с ней, и ее глаза – голубые ли они, синие ли, – ее маленькие ровные белые зубы сверкали от счастья. Когда это было? Это было, должно быть, перед войной, это было в той жизни, это было во сне.

Уля не знала фамилии этой девушки, все звали ее Люба, а еще чаще – Любка. Да, это была Любка, «Любка-артистка», как иногда называли ее мальчишки.

Самое поразительное было то, что во всей этой сумятице Любка стояла за калиткой среди кустов сирени совершенно спокойная и одетая так, точно она собирается идти в клуб. Ее розовое личико, которое она всегда оберегала от солнца, и аккуратно подвитые и уложенные валом золотистые волосы, маленькие, словно выточенные из слоновой кости руки с блестящими ноготками, будто она только что сделала маникюр, и маленькие стройные полные ножки, обутые в легкие кремовые туфельки на высоких каблуках, – все это было такое, точно Любка вот сейчас выйдет на сцену и начнет кружиться и петь перед всеми этими людьми, потными, с лицами, искаженными от страха.

Но еще больше поразило Улю то необыкновенно задиристое и в то же время очень простодушное и умное выражение, которое было в ее розовом, с чуть вздернутым носиком лице, в полных губах немного большего для ее лица, румяного рта, а главное – в этих прищуренных голубых, необыкновенно живых глазах.

Она, как к чему-то совершенно естественному, отнеслась к тому, что Уля едва не выломила перед ней калитку, и, не взглянув на Улю, продолжала спокойно и дерзко смотреть на все, что происходило на улице, и кричала черт знает что:

– Балда! Ты что ж людей давишь?.. Видать, сильно у тебя ослабила гайка, коли ты людей не можешь переждать, детишек давишь! Куда? Куда?.. Ах ты, балда – новый год! – задрав носик и посверкивая голубыми в пушистых ресницах глазами, кричала она водителю грузовика. Водитель, как раз для того, чтобы люди схлынули, застопорил машину напротив калитки.

Грузовик был полон имущества милиции и – милиционеров, в количестве значительно большем, чем требовалось бы для охраны имущества.

– Вон вас сколько поналезло, блюстители! – словно обрадовавшись этому новому поводу, закричала Любка. – Нет того, чтобы народ успокоить, сами – фьюить!.. – И она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка. – Ряжки вон какие наели!..

– И чего звонит, дура! – огрызнулся с грузовика какой-то милицейский начальник, сержант.

Но, видно, он сделал это на беду себе.

– А, товарищ Драпкин! – издевательски приветствовала его Любка. – Откуда это ты выискался, красный витязь? Тебя, небось, советская власть поставила порядок наводить, а ты залез в машину и кричишь на всю улицу, как попка-дурак...

– Молчи, пока глотку не заткнули! – вспыхнул вдруг «красный витязь», сделав движение, будто хочет выпрыгнуть.

– Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать! – не повышая голоса и нисколько не сердясь, издевалась Любка. – Ты, небось, ждешь не дожدهшься, пока за город выедешь, тогда, небось, все свои значки да кантики пообрываешь, чтобы никто в тебе не признал советского милиционера... Счастливого пути, товарищ Драпкин! – так напутствовала она побагровевшего от ярости, но действительно так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицейского начальника.

Человек со стороны, слыша такие ее высказывания, при этой ее внешности и при том, что она спокойно оставалась на месте, когда все вокруг бежало, мог бы принять ее за злейшую «контру», поджидающую немцев и издевающуюся над несчастьем советских людей, если бы не это простодушное детское выражение в ее голубых глазах и если бы ее реплики не были направлены только тем людям, которые их действительно заслужили.

– Эй ты, в шляпе! Гляди-ка, сколько на жинку навалил, а сам пустой идешь! – кричала она. – Жинка у тебя вон какая маленькая. Еще шляпу надел!.. Горе мне с тобой!.. Ты что, бабушка, под шумок колхозные огурцы ешь? – кричала она старухе на возу. – Думаешь, советская власть уходит, так уже тебе и не отчитаться ни перед кем? А бог на небе? Он, думаешь, не видит? Он все видит!..

Никто не обращал на ее реплики внимания, и она не могла не видеть этого, – похоже было, что она восстанавливает справедливость для собственного развлечения. Ее бесстрашие и спокойствие так понравились Уле, что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и обратилась прямо к ней.

– Люба, я комсомолка с Первомайки, Ульяна Громова. Скажи мне, почему такая паника?

– Обыкновенная паника, – охотно сказала Любка, дружелюбно обратив свои голубые сияющие и дерзкие глаза на Улю. – Наши оставили Ворошиловград, оставили еще на заре. Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям...

– А райком комсомола? – упавшим голосом спросила Уля.

– Ты что, пентюх облезлый, девчонку бьешь? У, злыдень! Вот выйду, наподдам тебе! – тоненьким голоском завопила Любка какому-то мальчишке в толпе. – Райком комсомола? – переспросила она. – Райком комсомола, он, как и полагается, в авангарде, он еще на заре выехал... Ну что ты, девушка, глаза вылупила? – сердито сказала она Уле. Но вдруг взглянула на Улю и, поняв, что происходило в ее душе, улыбнулась: – Я шутю, шутю... Ясно, приказали ему, вот он и выехал, не сбежал. Ясно тебе?

– А как же мы? – вдруг вся переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля.

– А ты, стало быть, тоже уезжай. Команда такая еще с утра дана. Где ж ты была с утра?

– А ты? – в упор спросила Уля.

– Я?.. – Люба помолчала, и умное лицо ее вдруг приняло постороннее, безразличное выражение. – А я еще посмотрю, – сказала она уклончиво.

– А ты разве не комсомолка? – настойчиво спрашивала Уля, и ее большие черные глаза с сильным и гневным выражением на мгновение встретились с прищуренными, настороженными глазами Любки.

– Нет, – сказала Любка, чуть поджав губы, и отвернулась. – Папка! – вскрикнула она и, распахнув калитку, побежала на своих высоких каблучках навстречу группе людей, которые, заметно выделяясь среди толпы, испуганно и с каким-то неожиданным почтением расступавшейся перед ними, шли сюда, к дому.

Впереди шли директор шахты № 1-бис, Валько, плотный, бритый мужчина лет пятидесяти, в пиджаке и сапогах, с лицом мрачным и черным, как у цыгана, и известный всему городу знатный забойщик той же шахты Григорий Ильич Шевцов. За ними шло еще несколько шахтеров и двое военных. А позади, на некотором расстоянии, катилась сборная, из разных людей, толпа любопытных: даже в самые необычные и тяжелые моменты жизни среди людей находится известное число просто любопытных.

Григорий Ильич и другие шахтеры были в спецовках с откинутыми башлыками. Их одежда, лица, руки были все в угле. Один из них нес через плечо тяжелый моток электрического кабеля, другой – ящик с инструментами, а в руках у Шевцова был какой-то странный металлический аппарат с торчащими из него концами обнаженного провода, похожий не то на радиоприемник, не то на телеграфный передатчик. Они шли молча и точно боясь встретиться глазами с кем-либо из толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды, катился по их измазанному углем лицам. И лица их были такие измученные, точно эти люди несли на себе непомерную тяжесть. И Уля вдруг поняла, почему, несмотря на такую сумятицу, все люди на улице загодя испуганно расступались перед ними, – вся дорога была перед ними свободна. Это были люди, которые собственными руками взорвали шахту № 1-бис – гордость Донецкого бассейна.

Любка подбежала к Григорию Ильичу, взяла его за темную жилистую руку своей маленькой белой ручкой, которую он сразу крепко сжал, и пошла рядом с ним. «Шевцова дочка?» – недоумевала Уля.

В это время шахтеры во главе с директором шахты Валько и Шевцовым подошли к калитке и с явным облегчением сбросили через заборчик в палисадник, прямо на цветы, предметы, которые они несли, – моток кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический аппарат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой возможны были и эти цветы, и многое другое, – все это было уже кончено.

Люди сбросили все эти предметы и некоторое время постояли, не глядя друг на друга, в какой-то неловкости.

– Ну что ж, Григорий Ильич, собирайся швидче, машина на мази, людей посажу и всем гамузом за тобой, – сказал Валько, не подымая на Шевцова глаз из-под своих широких и сросшихся, как у цыгана, бровей.

И он в сопровождении шахтеров и военных медленно пошел дальше по улице.

У калитки остались Григорий Ильич с дочкой, которую он по-прежнему держал за руку, и старик-шахтер с прокуренными до желтизны, редкими, точно выщипанными усами и бородкой, до крайности высохший и голенастый. И Уля, на которую они не обращали внимания, тоже стояла рядом, словно решение вопроса, который ее мучил, она могла получить только здесь. Люди в толпе, сшибаясь, бранясь и плача, по-прежнему шли по всем направлениям, и никого уже не было из тех, кого могли бы заинтересовать эти стоящие у калитки двое мужчин и две девушки.

– Любовь Григорьевна, кому сказано? – сердито сказал Григорий Ильич, взглянув на дочь, не отпуская, однако, ее руки.

– Сказала, не поеду, – угрюмо отозвалась Любка.

– Не дури, не дури, – явно волнуясь, тихо сказал Григорий Ильич. – Как можешь ты не ехать? Комсомолка...

Любка, вспыхнув, вскинула глаза на Улю, но в лице ее тотчас появилось строптивное, даже нахальное выражение.

– Комсомолка без году неделя, – сказала она, поджав губы. – Кому я что сделала? И мне ничего не сделают... Мне мать жалко, – добавила она тихо.

«Отреклась от комсомола!» – вдруг с ужасом подумала Уля. Но в то же мгновение мысль о собственной больной матери жаром отозвалась в груди ее.

– Ну, Григорий Ильич, – таким страшным низким голосом, что удивительно было, как он выходил из такого высохшего тела, сказал старик, – пришло время нам расставаться... Прощай... – и он прямо посмотрел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему перед ним со склоненной головой.

Григорий Ильич молча стащил с головы кепку. У него были светло-русые волосы и худое, с глубокими продольными бороздами, лицо пожилого русского мастерового, с голубыми глазами. Хотя он был уже не молод и одет был в эту неуклюжую спецовку и лицо, и руки его были в угле, чувствовалось, что он хорошо сложен и крепок, и красив старинной русской красотой.

– А может, рисканешь с нами? А? Кондратович? – спросил он, не глядя на старика и явно конфузясь.

– Куда же нас со старухой? Пушай уж нас наши дети с Красной Армией вызволяют.

– А старший твой что ж? – спросил Григорий Ильич.

– Старший? О нем что ж и говорить, – сумрачно сказал старик и махнул рукой с таким выражением, как будто хотел сказать: «Ведь ты и сам знаешь мой позор, зачем же спрашиваешь?» – Прощай, Григорий Ильич, – печально сказал он и протянул Шевцову высохшую, когтистую руку.

Григорий Ильич подал свою. Но что-то было еще недосказано ими, и они, держа друг друга за руку, еще постояли некоторое время.

– Да... что ж... Моя старуха и, вишь, дочка тоже остаются, – медленно говорил Григорий Ильич. Голос его вдруг пресекся. – Как это мы ее, Кондратович? А?.. Красавицу нашу... Всей, можно сказать, страны кормилицу... Ах!.. – вдруг необыкновенно тихо выдохнул он из самой глубины души, и слезы, сверкающие и острые, как кристаллы, выпали на его измазанное углем лицо.

Старик, хрипло всхлипнув, низко наклонил голову. И Любка заплакала навзрыд.

Уля, кусая губы, не в силах удержать душившие ее слезы бессильной ярости, побежала домой, на Первомайку.

Глава 3

Поселок Первомайский был самым старым шахтерским поселком в этом районе, – от него, собственно, и начался город Краснодон. Первомайским, или, в просторечии Первомайкой, он стал называться с недавнего времени. В прежние времена, когда уголь в этих местах еще не был обнаружен, здесь расположены были казачьи хутора, самым крупным из которых считался хутор Сорокин.

Уголь открыли здесь в начале века. Первые шахтенки, закладывавшиеся по пласту, были наклонные и такие маленькие, что уголь подымали конными или даже ручными воротками. Шахтенки принадлежали разным хозяевам, но по старой памяти весь рудник называли – рудник Сорокин.

Шахтеры, выходцы из центральных русских губерний и с Украины, селились по хуторам у казаков, роднились с ними, да и сами казаки уже работали на шахтах. Семьи разрастались, делились, строились рядом.

Закладывались новые шахты – за длинным холмом, по которому протекает теперь Ворошиловградское шоссе, и дальше за балкой, что разделяет теперь город Краснодон на две неравные части. Эти новые шахты принадлежали одинокому помещику Ярманкину, или «бешеному барину», поэтому и новый поселок, возникший вокруг шахт, первое время назывался в просторечии поселок Ярманкин или «Бешеный». Дом самого «бешеного барина» – каменный серый одноэтажный дом, в одной половине которого был разбит зимний сад с диковинными растениями и заморскими птицами, в те времена один стоял на высоком холме за балкой, открытый всем ветрам, и его тоже называли «бешеным». Уже при советской власти, в годы первой и второй пятилеток, в этом районе были заложены новые шахты, и центр рудника Сорокина переместился в ту сторону, застроился стандартными домиками, крупными зданиями учреждений, больниц, школ, клубов. На холме, рядом с домом «бешеного барина», выросло красивое, с крыльями, с высаженными перед главным подъездом молодыми деревцами, здание районного исполкома. А в самом доме «бешеного барина» разместилась проектная контора треста «Краснодонуголь», служащие которой уже и понятия не имели, что это за дом такой, где они проводят третью часть своей жизни. Так рудник Сорокин превратился в город Краснодон.

Уля, ее подруги и товарищи по школе росли вместе со своим городом. Совсем еще маленькими школьницами и школьниками в праздник древонасаждения они участвовали в посадке деревьев и кустов на заваленном мусорными кучами и заросшем лопухами пустыре, отведенном городским советом под парк. Мысль о том, что здесь должен быть парк, возникла среди старых комсомольцев – тех еще поколений, что помнили «бешеного барина», поселок Ярманкин, первую немецкую оккупацию и гражданскую войну. Некоторые из них и сейчас работали в Краснодоне, – у иных уже седина пробрызнула в волосы или в казацком буденновском усе, – но в большинстве жизнь разбросала их по всей нашей земле, а кое-кто полез высоко в гору. А руководил той посадкой садовник Данилыч, он и тогда уже был старей. Но он и теперь работал в парке старшим садовником, хотя стал уже совсем ветхим. И вот он разросся, этот парк, и стал любимым местом отдыха для взрослых, а для молодежи он был даже не местом, а самой жизнью в пору ее юного цветения, он рос вместе с ними, он был юн, как они, но его зеленые кроны уже шумели на ветру, и в солнечные дни там уже было тенисто и можно было найти таинственные укромные уголки, а ночью, под луной, он был прекрасен, а в дождливые осенние ночи, когда опадал мокрый желтый лист, вился и шурша во тьме, там было даже страшновато, в этом парке. Так росла молодежь вместе со своим парком, вместе со своим городом и по-своему крестила его районы, слободки, улицы.

Отстроят новые бараки, – это место так и назовут: «Новые бараки». Уже и барачников никаких нет, уже каменные дома вокруг, но название переживает то, что его породило. До сих пор

существует окраина «Голубятники». Когда-то это были три деревянные хибарки на отлете и мальчишки водили там голубей, теперь там тоже стандартные дома. «Чурилино» – это и вовсе был один домик, где жил шахтер Чурилин. «Сеняки» – там был раньше сенной двор. «Деревянная» – это совсем отдельная улица за переездом, за парком, она так и осталась отдельной от всего города, и домики остались те же, деревянные, и там живет девушка Валя Борц с темно-серыми глазами и русыми золотистыми косами, самолюбивая девушка, не старше семнадцати лет. «Каменная» – это улица первых стандартных каменных домов. Теперь таких домов много, но только эту улицу называют «Каменной»: она была первой. А «Восьмидомики» – это уже целый район, несколько улиц на том месте, где стояло всего восемь таких стандартных домиков.

Со всех концов нашей земли стекаются люди в Донбасс. И первый вопрос у них: где жить? Китаец Ли Фанча слепил себе на пустыре жилье из глины и соломы, а потом стал лепить комнатки, одну к другой, как соты, и сдавать их внаем, пока пришедшие люди не поняли, что незачем снимать комнатки у Ли Фанчи, можно слепить свои. Так образовался обширный район лепящихся друг к другу мазанок, – этот район называли Шанхаем. Потом такие же мазанки-соты возникли вдоль всей балки, разделяющей город, и на пустырях вокруг города, и эти гнезда мазанок стали называть «шанхайчиками».

С той поры как была пущена в ход самая крупная в районе шахта № 1-бис, заложенная как раз между хутором Сорокиным и бывшим поселком Ярманкиным, город Краснодон снова стал разрастаться в сторону хутора Сорокина и почти слился с ним. Так хутор Сорокин, давно уже сросшийся с соседними более мелкими хуторами, превратился в поселок Первомайский – один из районов города.

От других районов города его отличало только то, что здесь большинство жилых домиков осталось от прежних казачьих хуторов, – это были собственные домики, каждый на свой манер, и среди населения здесь по-прежнему было много казаков, работавших не на шахтах, а на степи, сеявших хлеб и объединившихся в несколько колхозов.

Едва Уля вышла на ворошиловградское шоссе, по которому в направлении на восток по прежнему двигался почти сплошной поток воинских частей, машин, беженцев, как почти над самой головой, ревя моторами, один за другим прошли три немецких пикировщика. Толпа бойцов и беженцев, раздвоившись, хлынула в обе стороны шоссе, – кто бросился ничком в канаву, кто привалился к завалинке дома или прижался к стенке.

Уля, которую едва не сшибли с ног, мрачно проводила глазами этих раскрашенных птиц, с черной свастикой на распластанных крыльях, – летевших так низко, что казалось, они обдали ее ветром. Пикировщики уже где-то за городом дали несколько коротких пулеметных очередей по шоссе и скрылись в режущем глаза от солнечного блеска воздухе. И только через несколько минут послышались вдали глухие взрывы, – должно быть, пикировщики бомбили переправу на Донце.

В поселке Первомайском все ходуном ходило. Навстречу Уле неслись подводы, бежали целые семьи. Она знала всех этих людей, как и они знали ее, но никто не смотрел на нее, не заговаривал с ней.

И самым неожиданным впечатлением было впечатление от Зинаиды Выриковой, «гимназистки», которая с невообразимо испуганным лицом сидела среди двух женщин на возу, заваленном ящиками, узлами, кулями с мукой. Какой-то дед в картузе, свесив набок белые сапоги в муке, концами вожжей изо всей силы хлестал клячонку, тщетно пытаясь поднять ее в гору на галоп. Несмотря на невероятную жару, Вырикова была в драповом коричневом пальто, но без платка и шляпки, и поверх драпового жесткого воротника по-прежнему воинственно торчали вперед ее косицы.

Домик родителей Ули Громовой был расположен в низине, на дальней окраине поселка, – раньше это был хутор Гаврилов, и домик этот был старым казачьим домиком.

Отец Ульяны, Матвей Максимович Громов, был родом украинец, из Полтавской губернии, и с малых лет ходил с отцом на заработки в Юзовку. Был он рослым, сильным, красивым и отважным парнем с ниспадающими русыми кудрями, кольцами завивавшимися понизу, славился как силач-забойщик, и его любили девушки. И не было ничего унижительного в том, что, попав в эти края на заработки в те самые, казавшиеся Уле библейскими, времена, когда здесь открылись первые шахтенки, он пленил Матрену Савельевну, бывшую тогда еще маленькой черноглазой казачкой Матрешей с хутора Гаврилова.

В русско-японскую войну он служил в 8-м Московском гренадерском полку, шесть раз был ранен, два раза тяжело, имел много наград, и последнюю – за спасение знамени своего гренадерского полка – Святого Георгия.

С той поры здоровье его сдало. Некоторое время он еще работал на малых шахтенках, а потом стал служить при шахте кучером, да так и осел здесь, на хуторе Гаврилове, после бродячей своей жизни, в домике, доставшемся Матреше в приданое.

Едва Уля взялась за калитку родного дома, силы оставили ее. Уля любила мать и отца, и, как это бывает в юности, она не то что не думала, а не могла представить себе, что в самом деле придет такая минута жизни, когда надо будет самостоятельно решать свою судьбу отдельно от семьи. И вот эта минута пришла.

Уля знала, что ее мать и отец слишком привязаны к своему дому и слишком стары и больны, чтобы решиться на уход из дому. Сын был в армии, а Уля была девушка без определенного пути в жизни, человек без должности, и не могла взять их на свое попечение. А у другой дочери, много старше Ули, бывшей замужем за служащим шахтоуправления, человеком уже пожилым, жившим в их семье, – у этой старшей дочери были свои дети, и она тоже не решалась на уход из дому. И все они уже давно решили, что бы ни случилось, никуда не уходить с родного места.

Одна Уля до этой вот крайней минуты не имела ни ясного плана, ни твердой цели в душе своей. Ей все казалось, что ею должны распорядиться другие. То ей хотелось уйти в армию, обязательно в авиацию, и она писала письма брату, который служил техником в одной из авиационных частей, не поможет ли он ей поступить в летную школу. Иногда ей казалось, что проще всего было бы пойти на курсы медицинских сестер, как сделали некоторые из краснодонских девушек, – таким путем она могла бы очень скоро попасть в действующую армию. То ее преследовала тайная мечта уйти в партизанское подполье, в места, занятые врагом. То вдруг ею овладевала такая жажда учиться, учиться дальше! Ведь война не вечна, вот кончится она, надо будет жить, трудиться, и как еще нужны будут люди, знающие дело, – она ведь очень скоро может стать инженером или учителем. Но так никто и не распорядился ее судьбой, и вот подошло время, когда она должна отворить калитку и...

Тут только она почувствовала, как страшно может обернуться жизнь. Она должна бросить мать, отца врагу на поругание и одна ринуться в этот неизвестный и страшный мир лишений, скитаний, борьбы... Она почувствовала такую слабость в коленях, что едва не опустилась на землю. Ах, если бы она могла залезть сейчас в эту маленькую обжитую хатку, закрыть ставни, упасть в свою девичью постель и так вот лежать тихо-тихо и ничего не решать. Кому какое дело до черненькой девочки Ули! Вот так вот забраться в постель, поджать ноги и жить среди близких, любящих людей – будь что будет... Да и что оно будет, и когда оно будет, и долго ли оно будет? А может быть, это не так уж страшно?

Но в то же мгновение она содрогнулась от унижения гордости, унижения от самой возможности допустить такой выход. Да уже и не было времени выбирать: к ней уже бежала мать навстречу. Какая сила подняла ее с постели? За матерью шли отец, сестра, муж сестры, бежали ребяташки. Печать необыкновенного волнения лежала на всех лицах, а маленький племянник плакал.

– Куда ж ты запропала, доню моя? Тебя же с самой зари найти не могут. Беги скорей до Анатолия, коли он не уехал, беги, доню! – говорила мать, и слезы, которых она даже не пыталась убрать, катились по ее загорелым бледным морщинистым щекам.

Мать все еще была чернява, хотя и стара и начала гнуться к земле. Она была чернява, и черные глаза у нее были красивые, как у большой дикой птицы, хотя сама она была маленькая. И характером она была сильная и умная, – дочери и старый Матвей Максимович слушались ее. Но вот пришел час, когда дочь сама должна была решить за себя, и силы матери надломились.

– Кто искал? Анатолий? – быстро спросила Уля.

– Та с райкому шукали, – стоя позади матери с тяжело опущенными большими руками, говорил отец.

Как он был уже стар! Спереди он почти совсем облысел, только на затылке да на висках еще остались следы былых кудрей, они все еще завивались кольчиками, но в гренадерских рыжеватых усах его было уже столько седины, и щетина на лице была седоватая, и нос совсем сизый, и кирпичного цвета лицо его, лицо солдата, было все в морщинах.

– Беги, беги, доню! – повторяла мать. – Обожди, я Анатолия скличу! – И она, маленькая, старая, побежала между грядок к соседям Поповым, сын которых Анатолий вместе с Улей окончил в этом году первомайскую школу.

– Да ложитесь же вы, мама, я сама!

Уля бросилась за матерью, но та уже бежала вишенником вниз, и они побежали вместе, старая и молодая.

Усадьбы Громовых и Поповых граничили садами, полого спускавшимися в пересохшую балочку, по самому дну которой пролегалла граница – плетень. Но хотя они всю жизнь были соседями, Уля никогда не видалась с Анатолием помимо школы да комсомольских собраний, где он часто выступал с докладами. В детстве у него были свои мальчишеские интересы, а в старших классах над ним подтрунивали, будто он боится девочек. И правда, когда он встречался с Улей, да и не только с Улей, где-нибудь на улице или на квартире, он так терялся, что даже не успевал поздороваться, а если здоровался, краснел так, что любую девочку вгонял в краску. Об этом девочки иногда говорили между собой и подсмеивались над Анатолием. Но все-таки Уля уважала его, он был такой начитанный, умный, замкнутый, любил те же стихи, что и Уля, собирал жуков и бабочек, минералы и гербарии.

– Таисья Прокофьевна! Таисья Прокофьевна! – кричала мать, перегнувшись через низенький плетень в садик соседей. – Толечка! Уля пришла...

Где-то на той стороневерху, не видная за деревьями, отозвалась тоненьким голоском сестренка Анатолия. И вот он уже сам бежал среди деревьев, усеянных маленькими поспевающими вишенками, – в украинской, вышитой по подолу и концам рукавов, рубашке с расстегнутым воротом и в узбекской шапочке на затылке, которую он носил, чтобы не рассыпались его зачесанные назад длинные, овсяного цвета волосы. Его всегда серьезное худое загорелое лицо с белесоватыми бровями было сильно разгорячено, он так вспотел, что мокрые пятна кругами выступили у него под мышками. И, видно, он совсем забыл о том, что Ули можно стесняться.

– Ульяна... ты знаешь, я тебя с самого утра ищу, ведь я уже всех ребят и девчат обегал, я из-за тебя Витьку Петрова задержал с отъездом, они у нас здесь, отец его ужас как ругается, собирайся немедленно! – быстро говорил он.

– Мы же ничего не знали. Чье это распоряжение?

– Распоряжение райкома – всем уходить. Немцы вот-вот будут здесь. Я всех предупредил, а вашей всей компании нет, я ужас как перенервничал. А тут с хутора Погорелого едут Витька Петров с отцом. Отец у него еще в гражданскую войну партизанил тут против немцев, задерживаться ему, конечно, нельзя ни минуты, и, представляешь себе, Витька специально заезжает за мной! Вот товарищ, так товарищ! Отец у него лесничий, лошади у них в лесхозе хорошие! Я, конечно, стал их задерживать. Отец ругается, я говорю: «Вы же сам старый парти-

зан, понимаете, что товарища бросать нельзя, к тому же, – говорю, – вы, должно быть, человек бесстрашный...» Вот мы тебя и ждем, – быстро говорил Анатолий, желая, видимо, немедленно поделиться с Улей всем, что он пережил, и глядя на нее то светло-серыми, то голубыми, вдруг просиявшими глазами, которые мгновенно сделали таким обаятельным его белесоватое лицо.

И как это оно казалось ей раньше ничем не примечательным? В лице Анатолия было выражение душевной силы, да, именно силы – где-то в складке полных губ, в широком вырезе ноздрей.

– Толя, – сказала Уля, – Толя... ты... – голос ее дрогнул, она протянула ему через плетень узкую загорелую руку. И тогда он смутился.

– Быстро, быстро, – сказал он, боясь встретиться с ее черными, прожигавшими его насквозь глазами.

– Я уже все собрала, подъезжайте к воротам... подъезжайте... подъезжайте, – повторяла Улина мама, и слезы все катились и катились по ее лицу.

До этой минуты мать еще не совсем верила, что дочь ее пустится одна в этот огромный, распавшийся на части мир, но она знала, что дочери оставаться опасно, и вот нашлись добрые люди, и взрослый человек с ними, и теперь все уже было кончено.

– Но, Толя, ты предупредил Валю Филатову? – сказала Уля с решимостью в голосе. – Ты же понимаешь, это моя лучшая подруга, я не могу уехать без нее.

На лице Анатолия изобразилось такое искреннее огорчение, что он не мог, да и не пытался скрыть его.

– Ведь лошади-то не мои и нас уже четыре человека... Я просто не знаю, – растерялся он.

– Но ты понимаешь, что я не могу бросить ее и уехать?

– Лошади, конечно, очень сильные, но все-таки пять человек...

– Вот что, Толя, спасибо тебе за все, за все... Вы езжайте, а я с Валею... мы пешком пойдем, – решительно сказала Уля. – Прощай!

– Господи, как же пешком, доню моя! Я ж тебе все платья, белье в чемодан сложила, а постель?... – И мать, по-детски утирая кулаками лицо, громко заплакала.

Благородство Ули по отношению к подруге не только не казалось Анатолию удивительным, – оно казалось ему вполне естественным, было бы удивительно, если бы Уля поступила иначе. Поэтому он не раздражался и не выражал нетерпения, – он просто искал выход из положения.

– Да ты хоть спроси у нее! – воскликнул он. – Может, она уже уехала, а может, и не собирается никуда, она же не комсомолка все-таки!

– Я за ней сбегая, – воспрянула Матрена Савельевна; она уже совсем потеряла меру силам своим.

– Да ложитесь же вы, мама, я все сама сделаю! – сказала Уля в сердцах.

– Толька! Скоро вы там? – сильным, звучным голосом позвал сверху, от хаты Поповых, Виктор Петров.

– Лошади, конечно, у них сильные. В крайнем случае мы можем по очереди бежать за телегой, – вслух размышлял Анатолий.

Но Уле не понадобилось идти за Валею. Только Уля с матерью поднялись к крылечку дома, там, между этим крылечком и домашними пристройками, кухонкой и сарайчиком для коровы, стояла среди домашних Ули осунувшаяся Валя Филатова. Бледность в лице ее проступила даже сквозь сильный загар.

– Валюша, собирайся, есть лошади, мы его уговорим, чтобы он взял нас обеих! – быстро сказала Уля.

– Обожди, мне нужно сказать тебе два слова... – Валя взяла ее за руку. Лицо у Вали было серьезное и бледное.

Они отошли к калитке.

– Уля! – сказала Валя, прямо взглянув ей в глаза своими широко расставленными светлыми глазами, выразившими подлинную муку. – Уля! Я не поеду никуда, я... Уля! – сказала она с силой. – Ты необыкновенный человек на свете, да, да, в тебе есть что-то сильное, большое, ты все можешь, правду говорит моя мама – Бог дал тебе крылья... Улечка, ты мое счастье на свете, – говорила Валя с жаром любви, – самое счастливое, что у меня было на свете, это ты, но я... я не поеду с тобой. Я самый обыкновенный человек на свете, я это знаю, и я всегда мечтала о самом обыкновенном... Вот, думала, выучусь, буду работать, встречу хорошего, доброго человека, выйду замуж, будут у меня дети, мальчик, девочка, будет у нас жизнь светлая, простая, и больше ни о чем я не думала. Улечка, я не умею бороться, я боюсь пуститься на сторону одна... Да, да, я вижу, теперь все порушилось, эти мои мечты, но у меня мама старенькая, я никому ничего худого не сделала, я человек незаметный, и я останусь и... и прости меня...

И Валя заплакала в платочек, который она все время комкала в руках. И Уля, вдруг обняв и прижав ее к себе, тоже заплакала над ее такой знакомой, милой, пахучей русой головкой. С самого детства дружили они, вместе учились, переходили из класса в класс, делили друг с другом первые девичьи радости, горести и тайны. Уля была замкнута и только в минуты особенного душевного состояния раскрывала себя, а Валя всегда говорила ей все, все, не поспевая своими чувствами за ходом Улиных признаний, когда приходила им пора, но разве в юности заботятся о том, чтобы понимать друг друга, – радость состоит в чувстве доверия, в возможности поделиться. И оказалось, что они совсем, совсем разные... Но столько чистых, прозрачных дней стояло за их нежной, святой девичьей дружбой, что горе разлуки раздирало их сердца. Валя чувствовала, что она отказывается сейчас от чего-то самого большого и светлого в своей жизни, дальше оставалось что-то очень серое и что-то очень неизвестное и ужасное.

А Уля чувствовала, что она теряет единственного человека, которому она могла в минуту счастья или самого великого душевного стеснения раскрыть всю себя, какая она есть, Уля. Она не заботилась о том, чтобы подруга понимала ее, она знала только, что всегда найдет отклик чувства – доброты и покорности, любви и просто чуткости – в ее душе. И Уля плакала потому, что это был конец ее детства, она становилась взрослой, она выходила в мир, и выходила одна.

Только теперь она вспомнила, как Валя вынула из ее волос лилию и бросила на землю. Уля поняла теперь, зачем Валя сделала это. В момент такого потрясения Валя догадалась, как странно выглядела бы ее подруга с этой лилией в волосах там, где рвут шахты, и поэтому она освободила ее от этой лилии. Значит, она вовсе не была такой обыкновенной, как она говорила, она могла понимать многое.

Какое-то предчувствие говорило им, что то, что происходит между ними, это происходит в последний раз. Они не только чувствовали, они знали, что они в каком-то особенном, душевном смысле прощаются навсегда. Поэтому они плакали от всего сердца, не стесняясь своих слез и не пытаясь их сдерживать.

Много слез было пролито в эти годы – не только в донецкую, а во всю порушенную, выжженную, политую кровью, потом советскую землю. Среди этих слез были слезы бессилия, ужаса, прямой нестерпимой физической боли. Но сколько было слез высоких, святых, благородных – самых святых и благородных, какие только проливал человек. Едва затархтела, подъезжая к воротам, длинная, с косыми решетками, селянская, переделанная из гарбы телега, заваленная узлами и чемоданами, запряженная в дышло двумя добрыми гнедыми конями, которыми правил крупный пожилой мужчина с мясистым сильным лицом, в полувоенной гимнастерке и кожаной фуражке, – Уля оторвалась от подруги, низом продолговатой ладони, как подушечкой, смахнула слезы, и лицо ее приняло обычное выражение..

– Прощай, Валя...

– Прощай, Улечка! – Валя заплакала в голос.

Они поцеловались.

Подвода остановилась у ворот. Из-за нее, красные и потные от бега и тоже заплаканные, показались мать Анатолия, Таисия Прокофьевна, здоровая, с светлыми глазами и волосами, рослая, белотелая казачка, и младшая сестра Анатолия, Наташа. Отец его с первых дней объявления войны был на фронте. Анатолий сидел уже на возу, рядом с ним сидел, в распахнутой на груди майке, темноволосый, миловидный, с выражением грусти в смелых мальчишеских глазах, Виктор Петров, державший в руках обернутую во что-то мягкое и перевязанную шнуром гитару. Уля повернулась и, точно деревянная, пошла навстречу семье. Ей уже несли чемодан, узлы, платок. Мать, со своими черными глазами большой дикой птицы, маленькая и старая, метнулась к ней.

– Мама, – сказала Уля.

Мать всплеснула сухонькими ручками и упала замертво.

Глава 4

Со времени великого переселения народов не видела донецкая степь такого движения масс людей, как в эти июльские дни 1942 года. По шоссейным, грунтовым дорогам и прямо по степи под палящим солнцем шли со своими обозами, артиллерией, танками отступающие части Красной Армии, детские дома и сады, стада скота, грузовики, беженцы – то нестройными колоннами, то вразброд, толкая перед собой тачки с вещами и с детьми на узлах. Они шли, топча созревающие и уже созревшие хлеба, и никому уже не было жаль этого хлеба – ни тем, кто топтал, ни тем, кто сеял, – они стали ничьими, эти хлеба: они оставались немцам. Колхозные и совхозные картофельные поля и огороды были открыты для всех. Беженцы копали картофель и пекли его в золе костров, разведенных из соломы или станичных плетней, – у всех, кто шел или ехал, можно было видеть в руках огурцы, помидоры, сочащийся ломоть кавуна или дыни. И такая пыль стояла над степью, что можно было, не мигая, смотреть на солнце.

Взятие немцами Миллерова, города и крупной железнодорожной станции на магистрали Воронеж – Ростов, и стремительное движение их танковых и моторизованных частей на Морозовскую, станцию на железной дороге, связывавшей Донбасс со Сталинградом, отрезало Ворошиловградскую и Ростовскую области от центра страны, поставило под угрозу Сталинград и изолировало армии Южного фронта.

То, что поверхностному взгляду отдельного человека, как песчинка вовлеченного в поток отступления и отражающего скорее то, что происходит в душе его, чем то, что совершается вокруг него, казалось случайным и бессмысленным выражением паники, было на самом деле невиданным по масштабу движением огромных масс людей и материальных ценностей, приведенных в действие сложным, организованным, движущимся по воле сотен и тысяч больших и малых людей, государственным механизмом войны.

Армии Южного фронта, выставив заслоны у Ворошиловграда и по реке Миус, выбрасывая по пути сильные отряды флангового охранения, отходили в направлении на Новочеркасск и Ростов, с тем чтобы успеть пройти за Дон, избежав глубокого флангового охвата их с севера. И в том же направлении двигались эвакуировавшиеся из Ворошиловграда и области крупные предприятия и учреждения.

Другие, меньшие потоки отступавших воинских частей отходили в направлении на Каменск, город километрах в сорока от Краснодона, расположенный южнее Миллерова, в том пункте, где железная дорога Воронеж – Ростов пересекает реку Северный Донец, и в направлении через Лихую на Белокалитвенскую, станцию на железной дороге Донбасс – Сталинград, в пункте, где эта дорога пересекает Северный Донец. Эти части должны были прикрыть правый, северный, фланг отступающих армий Южного фронта.

Как это бывает в вынужденном быстром отступлении, кроме этих главных, больших, хотя и трудных, но осмысленных движений масс войск и гражданского населения, по всем дорогам и прямо по степи в направлении на восток и юго-восток шли беженцы, мелкие учреждения и коллективы, разрозненные команды и обозы войск, разбитых в боях, потерявших связь, сбившихся с пути, группы военных, отставших по болезни или ранению, по недостатку транспорта. Эти, то большие, то меньшие группы, не имевшие никакого представления о том, что же в действительности происходит на фронте, шли, куда им казалось вернее и выгоднее, забивали все поры и вены главного движения и прежде всего забивали переправы через Донец и Дон, где у паромов и понтонных мостов, подвергаясь вражеской бомбардировке с воздуха, в течение суток крутились целые таборы людей, машин, подвод.

Как ни бессмысленно было движение на Каменск в условиях, когда немецкие части уже вышли далеко по ту сторону Донца, значительная часть беженцев из Краснодона устремилась именно в этом направлении, потому что в этом направлении еще шли воинские части.

И именно в этот бессмысленный поток попала запряженная двумя добрыми гнедыми конями селянская телега, на которой ехали Уля Громова, Анатолий Попов, Виктор Петров и его отец. Едва скрылись из глаз последние хуторские строения, когда подвода среди других подвод и машин уже перевалила на пологий съезд с холма, из глубины неба внезапно вырвался чудовищный рев моторов, и снова низко над головами, застыв солнце, промчались немецкие пикировщики, ударили по шоссе из пулеметов.

Отец Виктора, энергичный большой мужчина в кожаной фуражке, с мясистым лицом и сильным голосом, вдруг побелел.

– В степь! Ложись! – крикнул он ужасным голосом. Но ребята уже соскочили с телеги и бросились в пшеницу. Отец Виктора, опустив вожжи, тоже соскочил с телеги и тут же на месте исчез, будто испарился, будто это был не мужик-лесничий в тяжелых сапогах, а дух бесплотный. Одна Уля осталась на возу, – она сама не знала, почему она не побежала. Но в то же мгновение испуганные кони рванули так, что едва не выкинули ее из телеги.

Уля попыталась поймать вожжи, но не смогла дотянуться: кони, едва не налетев грудью на бричку впереди, взмыли на дыбы и рванули в сторону, чуть не оборвав постромки. Устойчивая, длинная, вместительная телега, переделанная из гарбы, было опрокинулась, но снова стала на колеса. Уля, уцепившись одной рукой за край телеги, а другой за какой-то тяжелый чувал, напрягала все силы, чтобы не выпасть: ее тут же задавили бы бесновавшиеся вокруг лошади других подвод.

Громадные гнедые кони, обезумев, рвались по вытоптанному хлебу среди людей и подвод, вздымаясь на дыбы, храпя и брызгая пеной. Вдруг с брички впереди соскочил высокий, широкоплечий, светловолосый юноша с непокрытой головой и кинулся, казалось, под самых коней.

Уля не сразу сообразила, что произошло, но через мгновение она увидела меж конских голов с взметенными гривами и оскаленными пастями его очень юное, свежее, сверкающее глазами, с выражением необычайного напряжения и силы, с плитками румянца на щеках, скуластое лицо.

Схватив сильной рукой одного храпящего коня за вожжу у самых удиц, юноша стоял между конем и дышлом, больше напирая на коня, чтобы не быть сшибленным дышлом. Юноша стоял, рослый, аккуратный, в хорошо выглаженной серой паре с темно-красным галстуком и выглядывавшим из карманчика пиджака белым костяным наконечником складной ручки. Другой рукой он поверх дышла пытался поймать за вожжу другого коня. Только по вздвигшемуся под серым пиджаком бугру мускулов и по резко обозначившимся жилам у загорелой кисти руки, которой он держал коня, видно было, каких усилий это ему стоило.

– Тпру... тпру... – говорил он не очень громко, но повелительно.

И в тот момент, как ему удалось схватить за вожжу другого коня, оба коня вдруг сразу присмирели в его руках. Они еще встряхивали гривами, косясь на него звериными очами, но он не отпускал их, пока они вовсе не притихли.

Юноша выпустил вожжи из рук, и первое, что он сделал, к немалому удивлению Ули, – он большими ладонями аккуратно пригладил свои почти не растрепавшиеся, расчесанные на косой пробор светло-русые волосы. Потом он поднял на Улю совершенно мокрое от пота скуластое лицо мальчика с большими глазами в длинных золотистых ресницах и широко, просто-душно и весело улыбнулся.

– Добрые к-кони, могли разнести, – сказал он, чуть заикаясь, глядя с этой своей широкой улыбкой на Улю, которая, все еще держась за край телеги и за чувал, чуть раздувая ноздри, с уважением смотрела на него черными глазами.

Люди возвращались на шоссе, ища свои подводы и машины. В иных местах, должно быть, возле убитых и раненых, грудились женщины: оттуда доносились стоны и причитания.

– Я так боялась, что они сожгут тебя дышлом! – сказала Уля, чуть подрагивая ноздрями от волнения.

– Я сам того боялся. Да кони не злые, холощенные, – наивно сказал он и большой загорелой рукой с длинными пальцами небрежно потрепал по потной глянцевиной шее коня, ближе к которому стоял.

Вдали, где-то уже на Донце, послышались глухие и одновременно резкие удары бомбежки.

– Очень людей жалко, – сказала Уля, оглядываясь вокруг.

Подводы и люди уже шли мимо с обеих сторон, куда хватал глаз, будто большая шумливая река катилась.

– Да, жалко. А особенно матерей наших. Что они переживают! И что им еще предстоит пережить! – сказал юноша, и лицо его сразу стало серьезным, и на лбу его, не по возрасту, собрались резкие продольные морщины.

– Да, да... – беззвучно сказала Уля, сразу представив мать свою, как она лежала, маленькая, распластавшись на выжженной земле.

Отец Виктора Петрова так же внезапно, как и исчез, возник возле коней и с преувеличенным вниманием стал ощупывать постромки, шлеи, вожжи. За ним, посмеиваясь и виновато крутя головой в узбекской шапочке и все же не теряя обычного серьезного выражения, показался Анатолий Попов, за ним Виктор, тоже немного сконфуженный.

– Гитара-то моя цела? – быстро спросил Виктор, озабоченно оглянув воз. И, увидев обернутую в стеганое одеяло, заложенную между узлов гитару, взглянул на Улю своими смелыми грустными глазами и рассмеялся.

Юноша, все еще стоявший между конями, поднырнул под дышло и под шею коню и, свободно и легко неся на широких плечах крупную непокрытую голову со светлыми волосами, подошел к возу.

– Анатолий! – радостно воскликнул он.

– Олег!

Они крепко взяли друг друга за руки повыше локтей, и в то же время Олег покосился на Улю и вдруг засмеялся – откровенно, охотно, весело.

– Кошевой, – назвал он себя и протянул ей руку.

Одно плечо, левое, было у него выше другого. Он был очень юн, совсем еще мальчик, но от его загорелого лица, высокой легкой фигуры, даже от одежды, хорошо проглаженной, с этим темно-красным галстуком и белым наконечником складной ручки, от всей его манеры двигаться, говорить с легким заиканием исходило такое ощущение свежести, силы, доброты, душевной ясности, что Уля сразу почувствовала доверие к нему.

А он с невольной наблюдательностью юноши мгновенно схватил глазами ее облеченный в белую кофту и темную юбку стройный стан с гибкой и сильной талией деревенской девушки, привычной к полевой страде, черные глаза, направленные на него, волнистые косы, ноздри причудливого выреза, длинные, стройные загорелые ноги, едва ниже колен прикрытые темной юбкой, – вспыхнул, резко повернулся к Виктору и, смущенный, подал ему руку.

Олег Кошевой учился в самой крупной краснодонской школе – имени Горького, – расположенной в городском парке. Улю и Виктора он видел впервые, а с Анатолием он был связан той беспечной дружбой, которая нередко возникает между активными комсомольцами, дружбой от одного комсомольского совещания до другого.

– Да, вот где привелось встретиться, – сказал Анатолий. – А помнишь, еще третьего дня мы заходили к тебе всем камузом воды напиться, и ты нас всех познакомил... со своей бабушкой! – засмеялся он. – Она что, с тобой едет?

– Нет, б-бабка осталась. И мама осталась, – сказал Олег, и на лбу его снова собрались продольные морщины. – Нас пятеро: Коля, мамин брат, – никак язык не повернется назвать его

дядей! – улыбнулся он. – Жинка его, да их мальчишка, да д-дед, что нас везет, – и он кивком головы указал на бричку впереди, откуда его уже несколько раз окликали.

Бричка, запряженная низкорослым, прытким на ноги буланым коньком, теперь все время катилась впереди, а гнедые кони так напирали сзади, что их влажные ноздри обдавали жаром шеи и уши сидящих в бричке.

Дядя Олега Кошевого, Николай Коростылев, или дядя Коля, инженер-геолог треста «Краснодонуголь», в синей пиджачной паре, красивый, чернобровый, кареглазый и флегматичный молодой человек, старше племянника всего лет на семь, друживший с ним, как с равным, поддразнивал его Улей.

– Этого, брат, упускать нельзя, – бубнил дядя Коля скучным голосом, не глядя на племянника, – шутка сказать, девку какую мало от смерти не спас! Здесь, брат, дело не обойдется без сватов. Верно, Марина?

– А ну вас к богу! Я так злякалась!

– А правда, хороша? – спрашивал Олег у своей молоденькой тетушки. – Просто чудо, как хороша!

– А Леночка?.. Ах, ты, Олежка-дролетка! – так и пронзив его черненькими глазками, сказала тетушка.

Тетушка Марина была из прехорошеньких тетушек-хохлушек, которые, кажется, сошли с лубочной картинки, – в вышитой украинской кофте, в монистах, черненькая, белозубая, с пышными волосами, пушистым облаком стоящими вокруг головы, – даже внезапные сборы в дорогу не помешали ей убраться к лицу.

Она придерживала рукой трехлетнего толстого мальчика, необыкновенно жизнерадостно отзывавшегося на все, что он видел вокруг, и не подозревавшего, в какой ужасный мир он попал.

– Нет, я так скажу: Леночка-то, правда, пара нашему Олегу, а эта, хоть и хорошенькая, а она нашего Олега никак не полюбит, бо Олег ще мальчик, а вона вже дивчина дай боже! – быстро говорила тетушка Марина, беспокойно поводя черными глазками вокруг и то и дело поглядывая на небо. – Это коли жинка уже старая, так ей нравятся мальчишки, а коли вона ще молоденькая, то ей николи не полюбится моложе ее, то я по себе скажу, – говорила она такой скороговоркой, которая показывала, что тетушка действительно «злякалась».

Лена Позднышева была девушка-одноклассница, оставшаяся в Краснодоне, с которой Олег дружил, в которую был влюблен и которой были посвящены многие страницы его дневника. Может быть, он, Олег, и вправду поступил нехорошо по отношению к ней, так восторженно отозвавшись об Уле? Но что же в этом может быть нехорошего? Леночка – это уже навсегда в душе его, это уже никуда не может уйти, а Уля... И он снова видел перед собой Улю, и этих коней, и снова чувствовал, как конь слева дышал на него. И неужели после всего этого Марина может быть права, то есть эта девушка может не полюбить его оттого, что он еще мальчик! «Ах ты, Олежка-дролетка!..» Он был влюбчив и сам знал это за собой.

Обе подводы, бричка и селянская телега с косыми решетками, долго еще маневрировали по степи, стараясь обогнать колонну, но были еще сотни и тысячи людей, стремившихся также пробиться вперед, и везде, куда ни хватал глаз, был все тот же поток людей, машин и подвод.

И постепенно образы и Ули, и Леночки покинули Олега, и все заслонил этот непрерывный поток людей, в котором, как утлые лодки в море, покачивались бричка, запряженная буланым коньком, и телега с гнедыми конями.

Степь без конца и края тянулась на все концы света, тучные дымы пожаров вставали на горизонте, и только далеко-далеко на востоке необыкновенно чистые, ясные, витые облака кучились в голубом небе, и не было бы ничего удивительного, если бы вылетели из этих облаков белые ангелы с серебряными трубами.

И вспомнилась Олегу мама с мягкими, добрыми руками...

...Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, – он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее, руки твои, – ведь им столько выпало работы в жизни, – но они всегда казались мне такими нежными и я так любил целовать их прямо в темные жилочки.

Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении тихо, в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили на пеленки, и помню, как ты в тулупчике, зимой, несла ведра на коромысле, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: «бе-а – ба, ба-ба». Я вижу, как сильной рукой своею ты подводишь серп под жито, сломленное жменью другой руки, прямо на серп, вижу неумовимое сверканье серпа и потом это мгновенное плавное, такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых стеблей.

Я помню твои руки, не сгибающиеся, красные, залубеневшие от студеной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни, – казалось, совсем одни на свете, – и помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела – пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались! Я видел, как они месили глину с коровьим пометом, чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдавским вином. А с какой покорной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки, – отчим, которого ты научила любить меня и которого я чтит, как родного, уже за одно то, что ты любила его.

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои!

Ты проводила на войну сыновней, – если не ты, так другая, такая же, как ты, – иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, – все это сделали руки матери моей – моей и его, и его.

Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать, – не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя седеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы.

Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости...

Такие – а может быть, и не совсем такие – мысли и чувства теснились в душе Олега. Он уже не мог забыть того, что мать его осталась «там» и бабушка Вера, «подруга дней моих суровых», которая тоже была мамой, мамой его матери и дяди Коли, только что скучно бубнившего о чем-то далеком от жизни, – бабушка Вера тоже осталась «там».

И лицо Олега стало серьезным, неподвижным, большие глаза в золотистых ресницах заволоклись влажной пеленою. Он сидел, ссутулившись, свесив ноги, сцепив длинные сильные пальцы больших рук, и резкие продольные морщины легли у него на лбу.

Притихли и дядя Коля, и Марина, и даже их маленький сынишка, и такая же тишина установилась на подводе, следовавшей за ними. Потом и буланый конек, и добрые гнедые кони в этой страшной жаре и толчее притомились, и обе подводы незаметно снова выбились на шоссе, по которому все катился и катился поток людей, машин и подвод.

И что бы ни делали, ни думали, ни говорили люди в этом великом потоке людского горя – шутили ли они, придремывали, кормили детей, заводили знакомства, поили лошадей у редких колодцев, – за всем этим и надо всем незримо простиралась черная тень, надвигавшаяся из-за спины, простершая крылья уже где-то на севере и на юге, распространявшаяся по степи еще быстрее, чем этот поток.

И ощущение того, что они вынужденно покидают родную землю, близких людей, бегут в неизвестность и что сила, бросившая эту черную тень, может настигнуть и раздавить их, – тяжестью лежало на сердце у каждого.

Глава 5

Среди машин и беженцев, двигавшихся по обочине шоссе, куда прибило бричку и телегу, ползла грузовая машина шахты № 1-бис, на которой среди работников и имущества шахтоуправления ехали директор шахты Валько и Григорий Ильич Шевцов, с которым Уля всего несколько часов назад рассталась у калитки его дома.

Тут же пешком двигался детский дом для сирот участников Отечественной войны, помещавшийся в свое время на Восьмидомиках, – мальчики и девочки в возрасте пяти-восьми лет, в сопровождении двух девушек-нянь и заведующей домом – воспитательницы, пожилой женщины с пронзительными, невидящими глазами, с красным платком на голове, повязанным, как у жницы, и в резиновых пропылившихся ботах, надетых прямо на чулок.

Шоссе было так забито, что колонна больше стояла, чем двигалась. Детский дом сопровождало несколько подвод с имуществом дома, и на них сажали по очереди притомившихся детей.

С того момента, как грузовик шахты № 1-бис настиг этот детский дом, все пассажиры грузовика – Валько, Григорий Ильич и другие – поспрыгивали с машины и усадили в нее ребят. Григорию Ильичу так понравилась белокурая голубоглазая девочка с серьезным личиком и толстыми щечками – «пампушками», как называл их Григорий Ильич, – что он почти всю дорогу нес девочку на руках, целовал ей ручки и щечки-пампушки и разговаривал с ней, сам такой же белокурый и голубоглазый, как она.

За подводами детского дома, к которым присоединились теперь бричка и телега, двигалась сильно растянувшаяся по шоссе воинская часть с кухнями, пулеметами и пушками. Стущенная пыль какого-то уже ржавого цвета въелась в сапоги бойцов и командиров, – часть несколько суток была на походе.

В голове колонны, прямо за подводами, обтекая их, когда движение подвод замедлялось, шла рота автоматчиков. Они шли с прокаленными, как огнеупорный кирпич, лицами, неся перед собой на груди, как младенцев, свои автоматы, придерживаемые одной рукой, натруженной, набрякшей, а то и перевязанной после ранения.

Подвода, на которой ехала Уля, по какому-то неписаному распорядку сразу стала как бы принадлежностью хозяйства роты автоматчиков, частью самой роты: и на походе, и на стоянке подвода неизменно оказывалась в центре роты, и, куда бы Уля ни глядела, она все время встречала бросаемые исподволь, а то и прямо направленные на нее взгляды молодых воинов в этих пропыленных сапогах и пилотках и в не раз пропотевших, высохших и вновь пропотевших, вываленных в сырой земле, в песке, в болоте, в хвое, в солончаке, выдержавших ливни и палящее солнце солдатских гимнастерках.

Несмотря на отступление, бойцы были в обычном в присутствии девушек бодром, озорном, шутовском настроении, и, как и во всякой роте на походе или на отдыхе, в роте автоматчиков оказался свой любимец-балагур.

– Куда, куда без приказа? – кричал он отцу Виктора, когда тот, используя малейшую возможность продвинуться вперед, понукал коней. – Не-ет, друг милый, вам теперь без нас ходу нет. Мы вас приписали к нашей роте навечно, служить вам теперь, как медному котелку. Мы вас и на довольствие зачислили, на шильное, мыльное, на приварок, а девушку – храни господь и православная церковь ее красоту – каждое утро будем кофеем поить. Сладким!..

– Верно, Каяткин, не давай роту в обиду! – смеялись автоматчики, весело поглядывая на Улю.

– А что? Мы сей же час это проверим. Товарищ старшина! Федя! Аль он спит? Гляди, ребята, на ходу спит... Старшина! Подметки потерял...

– А ты головы не потерял?

– Одну потерял, да она случайно у тебя на плечах оказалась, они ж у меня приставные, гляди...

И Каюткин, аккуратно взявшись за свою некрупную голову – одной рукой за подбородок, а другой за затылок под пилоткой, небрежно сдвинутой на одну бровь, – выкатив глаза, стал производить головой вращательные движения, как бы вывинчивая шею. Иллюзия того, что голова отделяется от туловища, была настолько полной, что вся рота и все, кто был вблизи, грохнули хохотом. Уля не выдержала и тоже рассмеялась, звонко, по-детски, и смутилась. И все автоматчики радостно посмотрели на Улю, точно они знали, что Каюткин делает это для нее.

Он был физически мал, но необыкновенно ловок в движениях, этот балагур Каюткин. Лицо у него было все в мелких морщинках, но такое подвижное, что никак нельзя было угадать, сколько ему лет, – ему могло быть и за тридцать, и не больше двадцати, а по фигуре и поведению он был совсем мальчишка. Глаза у него были большие, синие, тоже в сети мелких морщинок, и, когда он умолкал, в них проглядывала вдруг идущая с самого глубокого дна застарелая усталость, но он будто не хотел, чтобы люди видели его усталость, и почти не умолкал.

– Вы откуда будете, молодые люди? – обратился он к товарищам Ули. – Вот видите! Вы из Краснодона, – удовлетворенно сказал Каюткин. – А девушка, скажем, будет кому-нибудь из вас сестрица? Или, извиняюсь, папаша, ваша дочь?.. Вот видите, – девушка вполне свободная, ни дочь, ни сестра, ни мужняя жена, и в Каменске ее, не иначе, мобилизуют. Мобилизуют, поставят регулировщицей. При сплошном поулошном движении! – И Каюткин неповторимым жестом показал на все, что творилось на шоссе и на степи. – Уж лучше ей к нам, в роту автоматчиков!.. ей-богу, вы, ребята, скоро попадете в Россию, там девок пруд пруди, а у нас в роте ни одной. А нам такая девушка очень нужна для прививки настоящей речи и для благородства поведения...

– Уж это как она сама захочет, – с улыбкой отвечал Анатолий, смущенно поглядывая на Улю, которая, стараясь не смеяться и все же смеясь, глядела в сторону, чтобы не встретиться глазами с Каюткиным.

– У-у, ее мы уговорим! – воскликнул Каюткин. – Мы от нашей роты таких ребят выставим, они какую хочешь девушку уговорят!

«А что, если и в самом деле пойти, вот соскочить с телеги и пойти?» – вдруг с замиранием сердца подумала Уля.

Олег Кошевой, теперь все время шагавший рядом с телегой, не сводил с Каюткина глаз, как замороженный. Он был влюблен в Каюткина и хотел, чтобы все были влюблены в него. Стоило Каюткину открыть рот, как Олег уже смеялся, закинув голову, показывая все свои зубы. От удовольствия он даже потирал себе кончики пальцев, так ему нравился Каюткин. Но Каюткин словно и не чувствовал этого, даже ни разу не взглянул на него, как он ни разу не взглянул на Улю и ни на одного из людей, которых забавлял.

Боец-пехотинец, громадного роста с большими и черными, как сковороды, руками, запыхавшись, выбился из задних рядов колонны, держа в руке какие-то тяжелые предметы, завернутые в замасленную тряпку.

– Товарищи! Где здесь, сказали мне, шахтерская машина идет? – спрашивал он.

– Вон она, да только стоит! – пошутил Каюткин, указав на грузовик, весь усаженный детишками.

– Извините, товарищи, – сказал боец, подходя к Валько и Григорию Ильичу, бережно поставившему белокурую девочку на землю, – хочу вам инструмент отдать. Вы народ мастеровой, и он вам сгодится, а мне он лишняя тяжесть на походе. – И он стал разворачивать перед ними замасленную тряпку.

Валько и Григорий Ильич, склонившись, смотрели ему на руки.

– Видали? – торжественно сказал боец, показывая в развернутой в его больших руках тряпке набор новеньких слесарных инструментов.

– Не понял – продаешь, что ли? – спросил Валько и недружелюбно поднял на него изпод сросшихся бровей цыганские свои глаза.

Кирпично-красное лицо бойца побагровело до того, что все покрылось капельками пота.

– Как только язык у тебя ворочается! – сказал он. – Я его на степе подобрал. Иду, а он так и лежит в тряпке, – должно, кто обронил.

– А может, выбросил, чтоб легче кульгать! – усмехнулся Валько.

– Мастеровой человек инструмента не выбросит. Обронил, – холодно сказал боец, обращаясь уже только к Григорию Ильичу.

– Спасибо, спасибо, друг... – сказал Григорий Ильич и торопливо стал помогать бойцу завертывать инструменты.

– Ладно, что пристроил, а то ведь жалко, инструмент хороший. У вас вон машина, а мне-то на походе, в полной выкладке, куда там! – говорил боец, повеселев. – Счастливы вам! – И он, пожав руку одному Григорию Ильичу, побежал обратно и скоро замешался в колонне.

Валько некоторое время молча смотрел ему вслед, и на лице его было выражение мужественного одобрения.

– Человек... Да... – хрипло сказал Валько.

И Григорий Ильич, державший в одной руке инструменты, а другой поглаживавший по головке белокурую девочку, понял, что его директор недоверчиво отнесся к бойцу не по недостатку сердца, а по привычке к тому, что люди иногда обманывают его – руководителя предприятия, на котором работали тысячи людей и которое давало тысячи тонн угля в сутки. Предприятие это было теперь взорвано его, директора, собственными руками, люди частью были вывезены или разбежались, частью остались на погибель. И Григорий Ильич впервые подумал, как темно, может быть, сейчас на душе у директора.

Как ни топтали степь машины, лошади, люди и скот, к ночи посвежело, пыль осела, слышны стали запахи сена, полыни. Месяц-молодик еще не родился, небо раскинулось темное, в звездах. Еще с вечера стали слышны впереди звуки оружейной стрельбы. Ночью они приблизились, можно было даже расслышать пулеметные очереди. И всю ночь там, в районе Каменска, видны были вспышки, иногда настолько сильные, что они освещали всю колонну. Зарева пожаров окрашивали небо то там, то здесь в винный цвет и тяжело и багрово отливали среди темной степи по вершинам курганов.

– Братские могилы, – сказал отец Виктора, молча сидевший на телеге с огоньком самокрутки, иногда вырывавшим из темноты его мясистое лицо. – Это не стародавних времен могилы, это наши могилы, – глухо сказал он. – Мы пробивались тут с Пархоменком да с Ворошиловым и захоронили своих...

Анатолий, Виктор, Олег и Уля молча поглядели на курганы, облитые заревом.

– Да, сколько мы в школе сочинений написали о той войне, мечтали, завидовали отцам нашим, и вот она пришла, война, к нам, будто нарочно, чтобы узнать, каковы мы, а мы уезжаем... – сказал Олег и глубоко вздохнул.

За ночь в движении колонны произошли перемены. Теперь машины и подводы учреждений и гражданских лиц и толпа беженцев вовсе не двигались, – говорили, что впереди проходят воинские части. Дошла очередь и до автоматчиков, они завозились в темноте, тихо позвякивая оружием, за ними вся часть зашевелилась. Машины, давая дорогу ей, теснились, рыча моторами. Во тьме мерцали огоньки цыгарок, – казалось, что это звездочки в небе. Кто-то тронул Улю за локоть. Она обернулась. Каюткин стоял со стороны воза, обратной той, где сидел отец Виктора и где стояли мальчики.

– На минуточку, – сказал он едва слышным шепотом. Что-то такое было в его голосе, что она сошла к нему с воза. Они отошли немного.

– Извиняйте, что побеспокоил, – тихо сказал Каюткин, – нельзя вам ехать на Каменск, его вот-вот немец возьмет, а по той стороне Донца немец и вовсе далеко пошел. Про то, что я

вам сказал, вы никому не говорите, я на то права не имел, но люди вы свои, и мне жалко, коли вы пропадете ни за что. Надо вам свернуть куда южнее, и то, дай бог, чтобы успели.

Каюткин говорил с Улей так бережно, будто огонек держал в ладонях, лицо его было плохо видно в темноте, но оно было серьезным и мягким и в глазах не было усталости – они блестели в темноте.

И на Улю подействовало не то, что он сказал, а то, как он говорил с ней. Она молча глядела на него.

– Как зовут-то тебя? – тихо спросил Каюткин.

– Ульяна Громова.

– Нет ли у тебя карточки своей?

– Нет.

– Нет... – повторил он печально.

Чувство жалости к нему и в то же время какое-то озорное чувство вдруг так и подхватило Улю, – она близко, совсем близко склонилась к его лицу.

– У меня нет карточки, – сказала она шепотом, – но если ты хорошо, хорошо посмотришь на меня, – она помолчала и некоторое время смотрела ему прямо в глаза своими черными очами, – ты не забудешь меня...

Он замер, только большие глаза его некоторое время печально светились в темноте.

– Да, я не забуду тебя... Потому что тебя нельзя забыть, – прошептал он чуть слышно. – Прощай...

И он, грохоча тяжелыми солдатскими сапогами, присоединился к части, которая все уходила и уходила во тьму со своими цыгарками, нескончаемая, как Млечный путь.

Уля еще раздумывала, сказать ли кому-нибудь о том, что он сказал ей, но, видно, это было известно не только ему и уже проникло в колонну.

Когда она подошла к телеге, многие машины и подводы сворачивали в степь, на юго-восток. В том же направлении потянулись вереницей беженцы.

– Придется на Лихую, – слышался хриплый голос Валько.

Отец Виктора о чем-то спросил его.

– Зачем разлучаться, будем двигаться вместе, раз уж судьба связала нас, – сказал Валько. Рассвет застал их уже в степи без дороги.

Он был так прекрасен в открытой степи, этот рассвет, – проясневшее небо над необъятными пространствами хлебов, здесь почти не тронутых, и светло-зеленая отава на дне балок, посеребренная росой, в капельках которой радужно отражался скользящий вдоль балок нежный свет солнца, встававшего прямо на людей. Но тем печальнее в свете этого раннего утра выглядели измученные, заспанные, осунувшиеся лица детей и сумрачные, измятые, полные тревоги лица взрослых.

Уля увидела заведующую детским домом, в этих ее насквозь пропылившихся резиновых ботах, надетых прямо на чулок. Лицо у заведующей все почернело. Всю дорогу она шла пешком и только с ночи под села на одну из подвод. Донецкое солнце, казалось, иссушило и выжгло ее дотла. Эту ночь она, видно, тоже не спала и уже все время молчала, все делала машинально, в пронзительных невидящих глазах ее было потустороннее, не здешнего мира выражение.

С самого раннего утра в воздухе, не умолкая, стоял рокот моторов. Самолетов не было видно, но впереди слева все время слышны были сотрясавшие воздух гулкие бомбовые удары, и иногда где-то очень далеко стрекотали пулеметы в небе. Там, над Донцом и Каменском, отсюда только слышимые, развертывались воздушные бои. И только один раз они увидели впереди уходивший низом, отбомбившийся немецкий пикировщик.

Олег вдруг соскочил с брички и подождал, пока телега поравняется с ним.

– Подумать только, нет, только подумать, – сказал он, идя рядом с телегой, держась за край ее и глядя на товарищей своими большими глазами, – ведь если немцы за Донцом, а эта

часть, что шла с нами, задерживает их в Каменске, ей уже не уйти, и этим автоматчикам, и этому парню чудесному, что всех веселил, всем им уже не уйти! И они, конечно, знали это, когда шли, они знали это! – говорил Олег.

Мысль о том, что Каюткин прощался с ней перед смертью, так и пронзила сердце Ули, и она вся вспыхнула от стыда, когда вспомнила то, что она сказала ему. Но чистый внутренний голос говорил ей, что она не сказала ничего такого, что было бы тяжело вспомнить Каюткину, когда он встретит свой смертный час.

Глава 6

Толпы беженцев уже вторые сутки проходили через Краснодон, и над городом все время стояли облака пыли, покрывавшей одежду людей, цветы, листья лопухов и тыкв грязно-черным слоем. Но в то время, когда на окраинах города еще все было охвачено волнением бегства и прощания, в центре города, на улицах, примыкавших к парку, уже стало совсем тихо, тише, чем обычно.

За парком погромыхивал взад-вперед по ветке последний железнодорожный состав, подбиравший от шахты к шахте оборудование, какое еще можно было вывезти. Слышно было сопение паровоза, свистки, рожок стрелочника. Оттуда, с переезда, доносились возбужденные человеческие голоса, шелест множества ног по пыли, урчанье машин и грохот колес артиллерии по помосту, – это продолжали отходить воинские части. И с паузами слышны были то в том, то в другом направлении за холмами дальние гулкие раскаты орудийных залпов, как будто там, за этими холмами, по необъятному простору степи покатывали с места на место громадную, с боками до неба, порожнюю бочку.

На широкой улице, упиравшейся в ворота парка, возле двухэтажного каменного здания треста «Краснодонуголь» еще стоял грузовик-полторатонка, и люди, мужчины и женщины, выносили через главные распахнутые двери последние остатки имущества треста и грузили их на машину.

Люди работали спокойно, споро, молчаливо. Их лица с выражением хмурой озабоченности и руки, набрякшие от таскания тяжестей, были потные и грязные. А немного в сторонке, под самыми окнами треста, стояли юноша и девушка и разговаривали так увлеченно и беззаветно, что видно было – и этот грузовик, и потные грязные люди, и все, что происходило вокруг, не было и не могло быть для них важнее того, о чем они говорили.

Девушка в розовой кофте и в желтых туфлях на босу ногу была крупная, полная, русая, с темными, матово поблескивающими, как миндалины, глазами, чуть косоватыми. Оттого, что она чуть косила, она смотрела на юношу немного сбоку, чуть повернув на белой атласной шее вскинутую точеную голову.

Юноша был длинный, нескладный, сутуловатый, в синей застиранной косоворотке с короткими для его длинных рук рукавами, подпоясанный узким ремешком, в серых, в коричневую полоску, коротковатых брюках и в тапочках на босу ногу. Длинные прямые темные волосы не слушались его, когда он говорил, падали на лоб, на уши, и он то и дело закидывал их резким движением головы. Лицо его принадлежало к тому типу бледных лиц, которые почти не берет загар. К тому же юноша был явно застенчив. Но в выражении лица его было столько природного юмора и в то же время затаенного, вот-вот готового вспыхнуть вдохновения, что это волновало девушку: она смотрела ему в лицо не отрываясь.

Им не было никакого дела, слушают ли их и смотрят ли на них люди. Но за ними наблюдали.

Наискосок через улицу, возле калитки стандартного дома, где помещался с прошлой осени Ворошиловградский областной комитет партии большевиков, стояла сильно побитая, местами порывевшая, местами вытертая до какого-то жестяного блеска, точно ей, как евангельскому верблюду, пришлось-таки ободрать бока, пролезая сквозь игольное ушко, черная легковая машина старой конструкции, высоко поставленная на колесах. Это было первое детище советского автомобилестроения, везде уже вышедшее из употребления и в просторечии именуемое «газик».

Да, это был «газик» – из тех, что прошли тысячи, десятки тысяч километров по степям Дона и Казахстана и по тундрам Севера, что взбирались едва не по козым тропам на горы Кавказа и Памира, что проникли в таежные дебри Алтая и Сихотэ-Алиня, обслужили строи-

тельство Днепровской плотины и Сталинградского тракторного, и Магнитостроя, что подвозили Чухновского и его товарищей к северному аэродрому для спасения экспедиции Нобиле и сквозь метели и торосы ползли по амурской ледяной трассе на подмогу первым строителям Комсомольска, – одним словом, это был «газик» из тех, что, напрягая усилия, вытянули на своей спине всю первую пятилетку, вытянули, устарили и уступили свое место более совершенным машинам, детищам тех самых заводов, которые они вытянули.

«Газик», что стоял возле стандартного дома, был закрытый «газик»-лимузин. Внутри него, у заднего сиденья, в ногах, стоял длинный тяжелый ящик; сбоку, поперек сиденья и ящика, лежало два чемодана, один на другом; поверх них, под самой крышей – два туго набитых рюкзака; к ним прислонены были два автомата ППШ с надетыми дисками, и еще рядом лежала стопка дисков. А на месте сиденья, оставшемся свободным, сидела белокурая загорелая женщина лет тридцати, со строгими чертами лица, в плотном дорожном платье неопределенного, от частого пребывания под солнцем и дождем, цвета. Ей уже негде было свободно поставить ноги, и она, закинув одну на другую, едва поместила их между ящиком и дверцей.

Женщина беспокойно поглядывала в сквозные отверстия дверей лимузина, – стекол в дверцах давно уже не было, – то на крыльцо стандартного дома, то в сторону грузившейся у треста машины. Видно было, что она ждет кого-то, ждет довольно долго и ей неприятно, что люди, которые грузят на машину, могут видеть и этот одинокий лимузин возле здания обкома и ее, женщину, в лимузине. Беспокойство, как тень, пробежало по ее строгому лицу, потом она снова откидывалась на сиденье и в отверстие в дверце пристально и задумчиво смотрела на юношу и девушку, разговаривавших под окнами треста. Постепенно черты ее лица смягчались, и, не замечаемый ею самой, слабый отзвук доброй и грустной улыбки возникал в ее серых глазах и на ее твердых, резкого рисунка, губах.

Женщине было тридцать лет, и она не знала, что это выражение доброго сожаления и грусти, возникавшее в лице ее, когда она смотрела на юношу и девушку, только и было выражением того, что ей уже тридцать лет и что она не может быть такой, как эти юноша и девушка.

Несмотря на все, что происходило вокруг и на всем белом свете, юноша и девушка объяснялись в любви. Они не могли не объясниться, потому что они должны были расстаться. Но они объяснялись в любви, как объясняются только в юности, то есть говорили решительно обо всем, кроме любви.

– Я так рада, Ванечка, что ты пришел, у меня точно тяжесть с души упала, – говорила она, глядя на него своими мерцающими, поблескивающими глазами с этим косым поворотом головы, милее которого не было для него ничего на свете, – я уже думала, мы уедем, и я так тебя и не увижу...

– Но ты понимаешь, почему я не заходил эти дни? – спрашивал он глуховатым баском, сверху вниз глядя на нее близорукими глазами, в которых, как угли под золой, теплилось вот-вот готовое вспыхнуть вдохновение. – Нет, я знаю, ты все, все понимаешь... Я должен был уехать еще три дня тому назад. Я уже совсем сложился и даже красоту навел перед тем, как зайти к тебе проститься, вдруг меня – в райком комсомола. Пришел в аккурат этот приказ об эвакуации, и все навыворот пошло. Мне и досадно, что курсы мои уехали, а я остался, и ребята просят помочь, и я сам вижу, что помочь надо... Вчера Олег предлагал мне место в бричке, ехать на Каменск, ты знаешь, как мы с ним дружим, но мне было уже неловко уезжать...

– Ты знаешь, у меня точно тяжесть с сердца упала, – сказала она, неотрывно глядя на него своими матово поблескивающими глазами.

– Признаться, я в душе тоже был рад: думаю, я ее еще много-много раз увижу. Черта с два! – басил он, не в силах оторваться от ее глаз, весь в плену того жаркого, нежного тепла, которое шло от ее чуть покрасневшегося лица, полной шеи и от всего ее большого, чувствующегося под розовой кофточкой тела. – Нет, ты представляешь себе? Школа имени Ворошилова, школа имени Горького, клуб Ленина, детская больница – и всё на меня. Счастье, что

помощник хороший нашелся – Жора Арутюнянц. Помнишь? Из нашей школы. Вот парень! Сам вызвался. Мы с ним не помним, когда и спали. И днем и ночью – все на ногах: подводы, машины, погрузка, фураж, там шина чертова порвалась, там бричку надо в кузню. Бред сивой кобылы!.. Но я, конечно, знал, что ты не уехала. От отца знал, – сказал он с застенчивой улыбкой. – Вчера ночью иду мимо вашего дома, у меня аж сердце оборвалось! А что, думаю, ежели постучать? – Он засмеялся. – Потом вспомнил родителя твоего – нет, думаю, Ваня, терпи...

– Ты знаешь, у меня просто тяжесть... – начала было она.

Но он, увлеченный, не дал ей договорить.

– Вчера я, правда, уже решил плюнуть на все. Уедет, думаю! Ведь не увижу! И что ж ты скажешь? Оказалось, детский дом – тот, что на Восьмидомиках, что организовали зимой для сирот, – еще не эвакуирован. Заведующая, – она рядом с нами живет, – прямо ко мне, чуть не плачет: «Товарищ Земнухов, выручите. Хоть через комитет комсомола достаньте транспорт». Я говорю: «Уехал уже комитет комсомола, обратитесь в отдел народного образования». – «Я, – говорит, – с ним все эти дни связана, обещали вот-вот вывезти, а сегодня утром прибежала – у них и для себя-то транспорта нет. Пока сбегала туда-сюда, уже и отдела народного образования не осталось...» – «Куда же он делся, – говорю, – ежели у него транспорта нет?» – «Не знаю, – говорит, – как-то рассосался...» Отдел народного образования рассосался! – Ваня Земнухов вдруг так весело расхохотался, что его непослушные длинные прямые волосы попадали на лоб и на уши, но он их тотчас же откинул резким движением головы. – Вот чудики! – смеялся он. – Ну, думаю, пропало твое дело, Ваня! Не видать тебе Клавы, как своих ушей. И можешь представить себе, взялись мы с Жорой Арутюнянцем за это дело, достали пять подвод. И, знаешь, у кого? У военных. Заведующая прощалась, слезами нас до нитки промочила. И ты думаешь, это все? Сегодня я говорю Жоре: «Беги, укладывай свой мешок, а я пока уложу свой». Потом я ему намекаю, что мне-де в одно место надо, ты, мол, заходи за мной, немного, в случае чего, обожди, в общем, тру ему всякое такое... Только я мешок свой уложил, вваливается ко мне этот, знаешь ты его? Ну, Толя Орлов? У него еще прозвище – «Гром гремит»...

– У меня просто тяжесть с сердца упала, – прорвавшись, наконец, сквозь поток его слов и страшно понизив голос, проговорила Клава с страстным блеском в глазах. – Я так боялась, что ты не зайдешь, ведь я же не могла сама зайти к тебе, – говорила она на каких-то бархатных низах своего голоса.

– Почему же? – спросил он, внезапно удивившись этой мысли.

– Ну, как ты не понимаешь? – Она смутилась. – А что бы я отцу сказала?

Пожалуй, это было самое большое, на что она могла пойти в этом разговоре: дать, наконец, понять ему, что их отношения не есть обыкновенные отношения, что в этих отношениях есть тайна. Она в конце концов должна была напомнить ему об этом, если он сам не хочет об этом говорить.

Он замолчал и так посмотрел на нее, что вдруг все ее крупное лицо и белая полная шея до самого выреза розовой кофты на груди стали, как эта кофта.

– Нет, ты не думай, что он плохо к тебе относится, – быстро заговорила она, мерцая своими косоватыми, как миндалины, глазами, – он столько раз говорил: «Умный этот Земнухов...» И ты знаешь, – тут она снова перешла на неотразимые бархатные низы своего голоса, – если бы ты захотел, ты мог бы поехать с нами.

Эта вдруг возникшая возможность уехать с любимой девушкой не приходила ему в голову и так была заманчива, что он растерялся, посмотрел на девушку, неловко улыбнулся, и вдруг лицо его стало серьезным, и он рассеянно поглядел вдоль улицы. Он стоял спиной к парку, и вся перспектива улицы, уходящая на юг, облитая жарким солнцем, бившим в лицо, открылась перед ним. Улица точно обрывалась вдали, там был спуск ко второму переезду, и далеко-далеко видны были голубые холмы в степи, за которыми вставали дымы дальних пожаров. Но он этого ничего не видел: он был сильно близорук. Он только услышал раскаты ору-

дийных выстрелов, свистки паровоза за парком и такой мирный, знакомый с детства, такой свежий и ясный под степным небом рожок стрелочника.

– У меня же, Клава, и вещей с собой нет, – сказал он грустно и растерянно и развел руками, словно показывая на свою непокрытую голову с распадающимися длинными темно-русыми волосами, и эту с короткими рукавами застиранную сатиновую рубашу, и коротковатые поношенные брюки в коричневую полоску, и тапочки на босу ногу. – Я даже очков не захватил, я и тебя-то как следует не вижу, – грустно пошутил он.

– Мы попросим папу и заедем за вещами, – тихо и страстно говорила она, искоса глядя на него. Она даже сделала движение взять его за руку, но не решилась.

И, как нарочно, отец Клавы, в кепке и сапогах и в сером поношенном пиджаке, неся два чемодана, весь обливаясь потом, вышел из-за грузовика, высматривая место, куда поставить чемоданы. Машина была загружена с верхом.

– Давай, товарищ Ковалев, я пристрою, – говорил работник, стоявший среди тюков и ящиков, и, опустившись на одно колено, придерживаясь рукой за край грузовика, по очереди принял чемоданы.

В это время, так же обходя грузовик, подошел и отец Вани, несший перед собой обеими худыми, жилистыми загорелыми руками узел, похожий на узел из прачечной, – должно быть, с бельем. Ему было очень трудно нести этот узел: он нес его перед собой в вытянутых руках, едва волоча подгибающиеся и шаркающие по земле ступнями длинные ноги. Его вытянутое морщинистое загорелое лицо, все в поту, даже побледнело, и на этом худом, изможденном лице страшно выделялись сильно белесые, с нездоровым блеском, строгие до мучительности глаза.

Отец Вани, Александр Федорович Земнухов, работал сторожем в тресте, а Ковалев, отец Клавы, заведующий хозяйством управления, был его непосредственным начальником.

Ковалев был из тех многочисленных завхозов, которые в обычное время спокойно несут бремя человеческого негодования, насмешек и презрения, выпадающих на долю всех завхозов, в отместку за зло, причиняемое человечеству некоторыми их нечестными собратьями, – он был одним из тех завхозов, которые в тяжелые минуты жизни обнаруживают, что же такое есть на свете настоящий завхоз.

В течение всех последних дней, с того момента, как он получил от директора приказ эвакуировать имущество треста, он, невзирая на мольбы и жалобы сослуживцев, лстивые проявления дружбы со стороны тех из начальников, которые в обычное время замечали его не больше, чем половую щетку в передней у голландской печки, невзирая на все это, он так же спокойно, ровно и споро, как всегда, упаковал, погрузил и отправил все, что имело хоть какую-нибудь ценность. Этим утром, на заре, он получил приказ уполномоченного по эвакуации треста не задерживаться долее ни минуты, уничтожить документы, которые нельзя вывезти, и немедленно выезжать на восток.

Но, получив этот приказ, Ковалев так же спокойно и быстро препроводил сначала самого уполномоченного с его имуществом и, неизвестно откуда и как добывая все виды транспорта, продолжал отправлять оставшееся имущество треста, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть. Пуще всего он боялся, что и в этот трагический день его, как всегда, обвинят в том, что он прежде всего устраивает себя, и поэтому он твердо решил уехать вместе с семьей на последней машине, которую он все-таки приберег на этот случай.

А старик Земнухов, Александр Федорович, сторож треста, по старости своей и болезни вообще не собирался и не мог выехать. Несколько дней тому назад он, как и все служащие, кто не мог выехать, получил окончательный расчет с двухнедельным выходным пособием, то есть все его дела с трестом были покончены. Но все эти дни и ночи он, так же волоча свои изуродованные ревматизмом ноги и шаркая ступнями, помогал Ковалеву паковать, грузить и отправлять имущество треста, потому что старик уже привык относиться к имуществу треста, как к своему имуществу.

Александр Федорович был старый донецкий шахтер, чудесный плотник. Еще молодым парнем, выходцем из Тамбовской губернии, он начал ходить на шахты на заработки. И в глубоких недрах донецкой земли, в самых страшных осыпях и ползунах, немало закрепил выработок его чудесный топорик, который в руках у него играл, и пел, и поклевывал, как золотой петушок. С юных лет работая в вечной сырости, Александр Федорович нажил свирепый ревматизм, вышел на пенсию и стал сторожем в тресте, и работал сторожем так, как будто он по-прежнему был плотником.

– Клавка, собирайся, матери помоги! – взревел Ковалев, тыльной стороной грязной набрякшей ладони смахивая пот со лба под задранном козырьком кепки. – А, Ваня! – безразлично сказал он, увидев Земнухова. – Видал, что делается? – Он яростно покачал головой, но тут же схватился руками за узел, который нес перед собой Александр Федорович, и помог взвалить на машину. – Действительно, можно сказать, дожили, – продолжал он, отдышавшись. – Ах, сволочь! – и лицо его перекосилось от особенно гулкого раската той страшной бочки, что, как сумасшедшая, весело покатывалась по горизонту. – А ты что же, не едешь, или как? Как он у тебя, Александр Федорович?

Александр Федорович, не ответив и не взглянув на сына, пошел за новым узлом: он и боялся за сына, и был недоволен им за то, что сын еще несколько дней тому назад не уехал в Саратов, вдогонку за ворошиловградскими юридическими курсами, где Ваня учился этим летом.

Но Клава, услышав слова отца, сделала Ване таинственный знак глазами и даже тронула за рукав и уже сама хотела что-то сказать отцу. Но Ваня опередил ее.

– Нет, – сказал он, – я не могу ехать сейчас. Я должен еще достать подводу Володе Осьмухину, он лежит после операции аппендицита.

Отец Клавы свистнул.

– Достанешь ее! – сказал он одновременно насмешливо и трагически.

– А кроме того, я не один, – избегая взгляда Клавы, с вдруг побелевшими губами сказал Ваня. – У меня товарищ, Жора Арутюнянц, мы тут вместе с ним крутились и дали слово, что пойдем вместе пешком, когда все кончим.

Теперь путь к отступлению был отрезан, и Ваня посмотрел на Клаву, темные глаза которой заволкли туманом.

– Вот как! – сказал Ковалев с полным безразличием к Ване, к Жоре Арутюнянцу и к их уговору. – Значит, прощай пока, – и он, шагнув к Ване и вздрогнув от орудийного залпа, протянул ему свою потную широкую ладонь.

– Вы на Каменск поедете или на Лихую? – спросил Ваня очень басистым голосом.

– На Каменск?! Немцы вот-вот возьмут Каменск! – взревел Ковалев. – На Лихую, только на Лихую! На Белокалитвенскую, через Донец и – лови нас...

– Дороги так забиты... я еще надеюсь, что мы вас нагоним на переправе на Донце, – сказал Ваня, адресуя эти слова Клаве, и решительным мужественным жестом закинул распадавшиеся волосы.

– Не дай бог! – сказал Ковалев.

Слова его относились, конечно, к возможности того, что дорога забита, а не к тому, что Жора Арутюнянц и Ваня догонят их.

Что-то тихо треснуло и зазвенело над их головами, и сверху посыпался мусор. Они подняли головы и увидели, что это распахнулось окно на втором этаже, в комнате, где помещался плановый отдел треста, и в окно высунулась толстая, лысоватая, малиновая голова, с лица и шеи которой буквально ручьями катился пот, – казалось, он сейчас начнет капать на людей под окном.

– Да разве ж вы не уехали, товарищ Стеценко? – удивился Ковалев, признав в этой голове начальника отдела.

– Нет, я разбираю здесь бумаги, чтобы не осталось немцам чего-нибудь важного, – очень тихо и вежливо, как всегда, сказал Стеценко грудным низким голосом.

– Вот-то удача вам, скажи на милость! – воскликнул Ковалев. – Ведь мы же минут через десяток уехали бы!

– А вы езжайте, я найду, как выбраться, – скромно сказал Стеценко. – Скажи-ка, Ковалев, не знаешь, чья это машина стоит возле обкома?

Ковалев, его дочь, Ваня Земнухов и работник на машине повернули головы в сторону «газика» у здания обкома.

Женщина в «газике» мгновенно переменила положение, подавшись вперед, чтобы ее не было видно в отверстие в дверце.

– Да они вас не возьмут, товарищ Стеценко, у них своей хворобы хватит! – воскликнул Ковалев.

– А мне и не нужно их милости, – сказал Стеценко и посмотрел на Ковалева маленькими красными глазками застарелого любителя выпить.

Ковалев вдруг смутился и быстро покосился на работника на машине, – не понял ли тот слов Стеценко в каком-нибудь нехорошем смысле.

– Я, в простоте душевной, полагал, что они уже все давным-давно уехали, а вдруг гляжу – машина, вот я и подумал: что бы это за машина? – с добродушной улыбкой пояснил Стеценко.

Некоторое время они еще поглядели на «газик».

– Выходит, не все уехали, – сказал Ковалев, помрачнев.

– Ах, Ковалев, Ковалев! – сказал Стеценко грустным голосом. – Нельзя быть таким правоверным – больше, чем сам римский папа, – сказал он, перевирая поговорку, которой Ковалев и вовсе не знал.

– Я, товарищ Стеценко, человек небольшой, – хрипло сказал Ковалев, выпрямившись и глядя не вверх, на окно, а на работника на машине, – я человек небольшой и не понимаю ваши намеки...

– Что ж ты на меня-то серчаешь? Я ж тебе ничего такого не сказал... Счастливого пути, Ковалев! Вряд ли увидимся уже до самого Саратова, – сказал Стеценко, и окно наверху захлопнулось.

Ковалев невидящими глазами и Ваня с выражением некоторого недоумения поглядели друг на друга. Ковалев вдруг густо побагровел, словно его обидели.

– Клавка, собирайся! – взревел он и пошел вокруг машины в здание треста.

Ковалев действительно был обижен, и был обижен не за себя. Ему обидно было, что человек, не простой, рядовой человек, как он, Ковалев, который по незнанию обстоятельств дела имел бы право роптать и жаловаться, а человек, подобный Стеценко, то есть приближенный к власти, немало хлеба-соли съевший с ее представителями и сказавший им в хорошие времена немало лстивых, витиеватых слов, – этот человек теперь осуждал этих людей, когда они уже не могли заступиться за себя.

Клава, которая решительно ничего не слышала и не видела из того, что происходило вокруг, не двинулась с места, и ее миндалевидные глаза, как повернутые магнитом, мгновенно приковались к лицу Земнухова.

– Вот так орел папаша твой! – с насмешливым и счастливым выражением лица сказал Ваня, словно поняв все, что происходило в душе Ковалева, и покрутил головой так, что его длинные волосы веером разлетелись во все стороны.

Женщина в «газике», вконец обеспокоенная привлеченным ею вниманием, вся порозовев, сердито смотрела на распахнутую входную дверь в помещение обкома.

Глава 7

Распахнув окна и двери, чтобы сквозняком выдуло дым, табачный и от сожженных документов, в одной из комнат обкома сидели не за столом, а друг против друга, на стульях, два человека и спокойно и мирно разговаривали.

Один из них был работник обкома Иван Федорович Проценко, оставленный в области в качестве одного из руководителей партизанских отрядов, другой – Матвей Константинович Шульга, старый краснодонский шахтер, подпольщик и партизан 1918–1919 годов, оставленный руководителем одной из подпольных групп в Краснодоне.

Иван Федорович Проценко был маленький, складно и ловко сшитый тридцатипятилетний мужчина с зачесанными назад, редкими, с залысинами на висках, русыми волосами, с умным, румяным лицом, раньше всегда чистым, бритым, а теперь заросшим мягкой, темной – уже не щетиной, но еще не бородкой, которую он начал отпускать недели две тому назад, узнав, что останется в подполье. Глаза у него были синие, ясные, хитроватые, то в одном, то в другом всегда что-то посверкивало, точно какая-то резвая искорка поскакивала на одной ножке из глаза в глаз.

А Матвей Шульга, или Костиевич, как его чаще звали, что по-украински обозначало просто его отчество – Константинович, был мужчина лет сорока пяти, плотный, с сильными круглыми плечами и крепким, резких очертаний, загорелым лицом, с редкими темными крапинами в порах лица – этими следами профессии; они остаются навек у людей, долго работавших шахтерами или литейщиками. Костиевич сидел в кепке, сдвинутой на затылок, голова его была коротко острижена под машинку, из-под кепки выступало его могучее темя той крепкой кости, что редко выпадает человеку, у него и очи были воловьи.

Во всем Краснодоне не было людей, настроенных так же спокойно и в то же время торжественно, как эти двое. Они были спокойны потому, что в их душах было полное согласие между тем, как они поступали, и их совестью.

Все время войны, от первого ее дня до нынешнего, было слито для них и их товарищей, час тому назад выехавших на восток, в один непрерывный день труда такого нечеловеческого напряжения, какое под силу было только закаленной богатырской натуре.

Все, что было наиболее здорового, сильного и молодого среди людей, они отдали фронту; и в то же время они производили угля, металла, хлеба, совершенных, по последнему слову, машин во много раз больше, чем до войны; и в то же время переводили на восток наиболее крупные, стоящие под угрозой захвата или разрушения, предприятия – тысячи станков, десятки тысяч рабочих, сотни тысяч семей; и в то же время изыскивали на месте новое оборудование и новых рабочих в опустевшие корпуса, чтобы снова вдохнуть в них жизнь, держали все производство и всех людей в том состоянии готовности, когда все это в любой момент можно было снять и вывезти; и в то же время изобретали технические усовершенствования на производстве, применяли новые, более интенсивные сорта сельскохозяйственных культур, изыскивали заменители тех продуктов и сырья, которых не хватало; и в то же время делали все то, что они делали и до войны и без чего немыслима жизнь людей в государстве, особенно в дни войны, – снабжали людей, кормили их, одевали, учили детей, лечили больных, выпускали новых инженеров, учителей, врачей, агрономов, содержали милицию, клубы, театры, столовые, бани, прачечные, парикмахерские, спортивные залы и стадионы, создавали детские дома для сирот, а главное – неустанно поддерживали во всех людях нечеловеческое напряжение их физических и душевных сил, чтобы люди вынесли все, что война возложила на их плечи.

Они делали это на протяжении всех дней войны, как если бы это был один день. И когда отпадала от них одна часть Донбасса за другой, с тем большим напряжением и трудностями приходилось им делать это в остальных частях. И с предельным напряжением они делали это

на последней оставшейся части Донбасса, потому что она была последняя. Они делали это, забыв, что у них может быть своя жизнь: семьи их были на востоке; они жили, ели, спали не на квартирах, а в своих учреждениях и предприятиях, и в любой час дня и ночи их можно было застать на своем месте. И если ничего уже нельзя было выжать из сил и энергии других людей, они вновь и вновь выжимали это из собственных физических и душевных сил и все-таки делали то, что нужно.

И пришел момент, когда они должны были покинуть и эту часть Донбасса, и тогда в течение нескольких дней они снова подняли на колеса сотни предприятий и учреждений – еще тысячи станков, десятки тысяч людей, сотни тысяч тонн материальных ценностей; и отдали все, что могли найти, для передвижения, снабжения, квартирования на походе армий, отступающего фронта; и выделили людей и их руководителей из своей среды для подпольной работы при немцах. И, наконец, пришла та последняя, решающая минута, когда большинству из них уже нельзя было оставаться, потому что уже только минуты решали, успеют ли они сами выскочить из сжимающегося кольца немцев.

И тогда здесь же, в комнате обкома, состоялось последнее прощание тех из товарищей, кто уезжал, и тех, кто оставался. По внутренней своей силе это была сцена, затмевающая великие трагедии древних, но она не могла бы взволновать зрителя древней трагедии: она была так проста, что даже не походила на трагедию. На прощание они шутили и посмеивались друг над другом и всё ходили один возле другого и поталкивали друг друга в плечо. Но у тех, кто уезжал, было так тяжело и смутно, и больно на душе, точно ворон когтил им душу. А у тех, кто оставался, вдруг появилось это состояние душевного спокойствия.

Даже самое высокое и ясное понимание необходимости и целесообразности бегства не может освободить человека от сознания униженности его положения, коли он бежит. А Иван Федорович и Костиевич оставались на том самом месте, где они жили и работали до сих пор, оставались вместе с людьми, которыми они до сих пор руководили. И сознание того, что эта честь выпала на их долю, вызывало в них настроение торжественной приподнятости.

И вот их товарищи уехали. Сквозняк выдул вместе с табачным дымом всякую шумиху и суету, и в комнате стало тихо и прохладно.

Иван Федорович и Матвей Костиевич делились наметками предстоящей работы и обменивались явками.

По привычке прежней работы, – заседания и переписка в угольных районах Донбасса велись на русском языке, – они говорили по-русски, то и дело перескакивая на родной украинский. Речь их была смешанная, и горький юмор ее – они говорили о вещах горьких – только подчеркивался этой особенностью их речи.

– Скажи ж мени, Костиевич, из тех явок, шо ты мени дав, лично знаешь ли ты хоч едину людину, короче говоря, самому-то тебе эти люди известны, что у них за семьи, что у них за окружение? – спрашивал Проценко.

– Сказать так, шо вони мне известны, так они мне досконально неизвестны, – медленно говорил Шульга, поглядывая на Ивана Федоровича своими спокойными воловьими очами. – Вон той адресок, – по старинке у нас той край назывался Голубятники, – то Кондратович, или, як его, Иван Гнатенко, у осьмнадцатом роци добрый був партизан, но я у него уже лет пятнадцать не был, а у него за то время сыны повыврастали, поженились, дочки замуж повыходили, и черт его батька знает, какое такое у него может быть окружение. Но худого я о них ничего не чув. Той второй адресок, на Шанхае, – и Костиевич своим коротким, поросшим темным волосом пальцем указал в бумажку, которую Проценко держал в руках, – то Фомин Игнат, лично я его не бачив, бо вин у Краснодони человек новый, но и вы, наверно, слыхали – то один наш стахановец с шахты номер четыре, говорят, человек свой и дал согласие. Удобство то, шо вин беспартийный и, хоть и знатный, а, говорят, никакой общественной работы не вел,

на собраниях не выступал, такой себе человек незаметный. А остальные – то все люди новые, и я их никого не знаю.

– Кого ж ты знаешь? – спрашивал Иван Федорович с некоторым беспокойством, сразу отразившимся в его живых глазах, поблескивавших умом и весельем.

– Я знаю кой-кого из наших коммунистов, шо оставлены для подпольной работы, – старика Лютикова, Вдовенко – то добрая жинка, и ту коммунистку с почты, но явок у них я дать не могу: они, может, сами будут десь ховаться.

– А на квартирах этих, что ты мне дал, сам-то ты бывал? – допытывался Проценко.

– У Кондратовича, чи то – Гнатенка Ивана, я був последний раз роцив тому пятнадцать, а у других я николи не був, да и когда ж я мог быть, Иван Федорович, когда вам самому известно, что я только вчера прибыл и мне только вчера сказали, что я остаюсь. Но люди ж подбирали, я думаю, люди ж знали? – не то отвечая, не то спрашивая и сам начиная уже сомневаться, говорил Матвей Константинович.

– Так-то оно так, да все ж то не дило, – сказал Проценко. – Разве ж то дило, коли одни люди подполье организуют, а другие остаются в подполье? – Проценко сам не замечал, как в его голосе привычно появилась нота не то наставления, не то выговора Шульге, хотя Шульга меньше всего был виноват в том, что так получилось. – От так организовали подполье! – издевался Проценко, и резвая искорка на одной ножке как-то особенно быстро и весело стала поскакивать из одного его синего глаза в другой.

– Та не я ж организовал, Иван Федорович!

– Про то ж я и кажу, шо не ты! – сказал Проценко, весело подмигнул Шульге и покачал головой.

– Они уже далеко, мабуть уже у Новочеркасска, – сказал Костиевич с тонкой улыбкой на большом, в темных крапинах лице. И оба они не без юмора и очень дружелюбно поглядели друг на друга.

Иван Федорович и Матвей Костиевич лучше кого-нибудь другого знали, что их товарищи уехали только что, уехали потому, что они должны были уехать, и что за это нельзя винить их товарищей, тем более, что дело могло бы сложиться так, когда бы им самим, то есть Ивану Проценко и Матвею Шульге, пришлось уехать, а вместо них остались бы их товарищи. Но все-таки им доставляла тайное удовольствие мысль, что те вот уехали, а они вот остались.

– Ну, та ничего, и не то бывало. Справимся, правильно, Костиевич?

– Ясно, справимся, – сказал Матвей Костиевич, и лицо его сразу осветилось выражением той деятельной энергии, которая, несмотря на его воловь глаза и кажущуюся медлительность движений и очень уж покойную силу в его круглых плечах, составляла главную основу его натуры. – Ну, а вы, Иван Федорович, знаете тех людей, шо вы дали мени адреса? – осторожно и почтительно спросил он.

Лицо Проценко приняло было отсутствующее и важное выражение, и он едва уже не сделал многозначительного кивка головой, но резвая искорка вдруг скакнула на одной ножке в одном глазу его, скакнула, подумала и вдруг пошла скакать с такой резвостью из глаза в глаз, что они так и брызнули смехом. Проценко отмахнулся обеими руками, в одной из которых была эта бумажка, и, просто и весело взглянув на Костиевича, сказал:

– Та ни одного человека, хай им грець!

И хотя то, о чем они говорили, чревато было многими опасностями и для самой работы, и для них лично, оба они очень искренно и весело рассмеялись.

Это были люди, закаленные в самых трудных условиях жизни: сетовать и разводить руками на то, что уже случилось и чего нельзя исправить, было не в их характере. А смешно им стало потому, что оба они как опытные аппаратные работники знали, как это могло получиться, и при всем понимании серьезности положения они смеялись над тем, что и они сами могли бы в свое время допустить до такого положения дела.

Виною всему была беспечность. Партизанский штаб, выделенный еще осенью 1941 года, когда впервые возникла угроза оккупации, той же осенью приступил к организации подпольных и партизанских групп. Но враг был еще далеко от Ворошиловграда, а люди, из которых состоял штаб, перегружены были своей обычной работой по должности. И они поручили подготовку этих групп другим людям, своим подчиненным, людям проверенным и исполнительным, которые нашли других, подчиненных им, тоже проверенных и исполнительных людей, и так была разработана и подготовлена сеть явок и подпольных квартир и партизанских баз, подпольных групп и партизанских отрядов. Но угроза оккупации все отодвигалась, а успехи зимней кампании Красной Армии породили надежду на то, что и вообще не будет никакой оккупации. И все оставалось в том положении, как оно было. За год многие люди из тех, что предполагались на подпольную работу, и даже из самого штаба, были мобилизованы в армию, другие переброшены на новую работу, третьи эвакуировались, четвертые сами забыли, что когда-то были намечены для этой деятельности. И вспомнили об этом только теперь, когда вновь возникла угроза оккупации. На этот раз она возникла так внезапно, что уже не оставалось времени для того, чтобы заново организовать дело. А к этому времени уже накопился большой опыт подпольной работы и партизанской борьбы в ранее оккупированных немцами областях, и его надо было применить в своей области. И в спешке партизанский штаб выдвинул новых людей, взамен ушедших или отпавших по соображениям, подсказанным новым опытом.

Проценко был видным городским работником, и его нельзя было оставить в Ворошиловграде, где он был бы обречен на провал. Поэтому он был оставлен при крупном партизанском отряде в районе станицы Митякинской. А Шульга, хотя и был родом из Краснодона, последние десять лет работал в других районах Донбасса, а после оккупации их немцами – в одном из северо-западных районов Ворошиловградской области. Поэтому в самый последний момент нашли, что ему лучше всего остаться одним из руководителей краснодонского подполья.

Вот как получилось, что организаторами подполья и партизанской борьбы в области были одни люди, а оставались для фактического ведения борьбы другие люди.

Выяснив эти обстоятельства, Проценко и Шульга обменялись двумя-тремя взаимно подбадривающими репликами, что, дескать, «ничего страшного в том нет» и «езде советские люди», и «не пройдет и пары недель, как они пустят корни», после чего Проценко сказал:

– Шо ж, Костиевич... – и встал.

Ему действительно пора уже было ехать.

– Шо ж, Иван Федорович, – сказал Шульга и тоже встал.

И тут оба они почувствовали, что им очень не хочется расставаться.

Не прошло и двух часов, как их товарищи уехали, уехали к своим, по своей земле, а они двое остались здесь, они вступили в новую, неизвестную и такую странную, после того как двадцать четыре года они свободно ходили по родной земле, подпольную жизнь. Они только что видели здесь своих товарищей, товарищи были еще так недалеко от них, что физически их еще можно было бы догнать, но они не могли догнать своих товарищей. А они двое за эти несколько часов стали так близки друг другу – ближе, чем самые родные люди. И им очень трудно было расстаться.

Они стоя долго трясли друг друга за руки.

– Побачим, шо воны за немци, яки воны хозяева та правители, – говорил Проценко.

– Вы же себя бережете, Иван Федорович...

– Та я живучий, як трава. Бережись ты, Костиевич.

– А я бессмертный, – улыбнулся Шульга.

Они были растроганы, и им хотелось сказать что-то очень хорошее друг другу, но они ничего не сказали, а обняли друг друга, поцеловались, крякнули и, стараясь не встретиться глазами, вышли к машине. В лицо им ударило жаркое полуденное солнце, они сожмурили глаза.

– Катя, заждалась? Та вже ж поихалы, – с широкой виноватой улыбкой сказал Иван Федорович, отворяя дверцу шоферского сиденья и доставая в ногах ручку, чтобы завести машину. – Знакомься, Костиевич, то жинка моя, учителька, – сказал он с неожиданным самодовольством.

– А, будем знакомы, – добродушно улыбнулся Шульга и пожал плотную энергичную руку женщины, которую она подала ему через отверстие в дверце кабины.

– А ваша жена? – с улыбкой спросила жена Проценко.

– Та мои ж уси... – начал было Шульга.

– Ах, простите... простите меня, – вдруг сказала жена Проценко и быстро закрыла лицо ладонью. Но между пальцев и пониже ладони видно было, как все лицо ее залилось краской.

Вся семья Шульги осталась в районе, захваченном немцами. Семья Шульги не успела выехать, потому что немцы вторглись слишком внезапно, а семья дожидалась своего Костиевича, который в это время был в дальних станицах: сбивал гурты скота для угона на восток. И он так и не успел вывезти свою семью.

Семья у него была очень простая, как и он сам. Когда семьи работников эвакуировались на восток, семья Матвея Костиевича – жена и двое ребят: девочка-школьница и семилетний сын – не пожелала уехать, и сам Матвей Костиевич не настаивал на том, чтобы она уехала. Когда он был еще молодым и партизанил в этих местах, его молодая жена была вместе с ним, и первый их сын, теперь командир Красной Армии, родился как раз в это время. И им, по старой памяти, казалось, что семьи в трудную пору жизни не должны разлучаться, а должны нести все тяготы вместе, – так они воспитывали и детей своих. Теперь Матвей Шульга чувствовал себя виноватым в том, что его семья осталась в руках немцев.

– Простите меня, – снова сказала жена Проценко, отнимая от лица руку, и сочувственно, и виновато посмотрела на Костиевича.

Проценко долго и энергично крутил ручкой. «Газик» весь встряхивало, но мотор не заводился.

– Костиевич, залазь в машину, дай мени газу, – смущенно сказал Проценко.

Шульга «дал газу». Машина завелась.

– От скаженная! – Проценко смахнул тыльной стороной ладони пот со лба и швырнул ручку в ноги шоферского сиденья.

Они еще раз простились, крепко обняв и поцеловав друг друга.

– Прощайте, – сказала и жена Проценко. Она не улыбнулась, она сказала это как-то даже торжественно, и слезы выступили на ее глазах.

– Счастливо! – грустно сказал Шульга.

«Газик» рывками, будто уросливый конек, стреляя выхлопной трубой и пуская струйки грязновато-синеватого дыма, побежал по улице, потом наладился. Проценко еще высунул руку в оконце и поболтал ею в последний раз на прощанье.

А Шульга остался один на улице, под жарким солнцем.

Он увидел нагруженную машину напротив через улицу, работника на ней и юношу и девушку, прощавшихся возле машины, и некоторое время рассеянно смотрел на них.

– И понимаешь, входит этот Толя Орлов, – знаешь его? – глуховатым баском говорил Ваня Земнухов.

– Не знаю, он, наверно, из школы Ворошилова, – беззвучно отвечала Клава.

– Одним словом, он ко мне: «Товарищ Земнухов, здесь через несколько домов от вас живет Володя Осьмухин, очень активный комсомолец, недавно перенес операцию аппендицита, и его рано привезли домой, и вот у него открылся шов и загноился, не можете ли вы ему достать подводу?» Понимаешь мое положение? Я этого Володю Осьмухина прекрасно знаю – золото, а не парень! Понимаешь мое положение? «Ну, – я говорю, – иди к Володе, я сейчас зайду тут в одно место, а потом постараюсь достать что-нибудь и зайду к вам». А сам побежал к тебе. Теперь ты понимаешь, почему я не могу поехать с вами? – виновато говорил он, стараясь

заглянуть в ее глаза, все больше наполнявшиеся слезами. – Но мы с Жорой Арутюнянцем... – снова начал он.

– Ваня, – сказала она, вдруг приблизившись к самому его лицу и обдав его теплым молочным дыханием, – Ваня, я горжусь тобой, я так горжусь тобой, я... – Она испустила стон, совсем не девичий, а какой-то низкий, бабий, и с этим стоном, забыв обо всем на свете, свободным, тоже не девичьим, а бабьим движением охватила его шею своими большими, полными, прохладными руками и страстно прильнула к его губам. «От бисовы дети!» – не то с изумлением, не то с завистью подумал на другой стороне улицы Матвей Шульга, только теперь разобравшись в том, что перед ним происходит.

Девушка оторвалась от Вани и убежала в калитку. Ваня постоял немного, потом повернулся и, размахивая длинными руками, подставляя лицо и растрепавшиеся волосы, которых он уже не поправлял, солнцу, быстро пошел по улице в сторону от парка. То вдохновение, которое, как угли под пеплом, теплилось в душе его, теперь, как пламя, освещало необыкновенное лицо его, но ни Клава и никто из людей не видели его лица теперь, когда оно стало таким прекрасным, потому что Ваня один шел по улице, размахивая руками. Где-то в районе еще рвали шахты, где-то еще бежали, плакали, ругались люди, шли отступающие войска, слышались раскаты орудийных залпов, моторы грозно ревели в небе, дым и пыль стояли в воздухе и солнце немилосердно катило, но для Вани Земнухова не существовало уже ничего, кроме этих полных, прохладных, нежных рук на его шее и этого терпкого, страстного, смоченного слезами поцелуя на губах его. Все, что происходило вокруг него, все это уже не страшило его, потому что не было уже ничего невозможного для него. Он мог бы эвакуировать не только Володю Осьмухина, а весь город – с женщинами, детьми и стариками, со всем их имуществом.

«Я горжусь тобой, я так горжусь тобой», – говорила она низким бархатным голосом, и больше он уже ни о чем не мог думать. Ему было девятнадцать лет.

Глава 8

Никто не мог сказать, как сложится жизнь при немцах. Но на всякий случай надо было иметь официальное положение в жизни. Проценко выдал Матвею Шульге еще вчера паспорт и трудовую книжку на имя рабочего ворошиловградского паровозостроительного завода Евдокима Остапчука. Вчера же ночью старик Лютиков, работавший заведующим механическим цехом треста «Краснодонуголь» и тоже оставленный для подпольной работы, задним числом зачислил Евдокима Остапчука слесарем механического цеха. Получилось совершенно естественно: работал на заводе в Ворошиловграде; начались бои – переехал в Краснодон и поступил в механический цех.

Собственно говоря, надо было бы сейчас скромненько спрятаться на одной из квартир, указанных ему, – лучше всего на квартире Ивана Гнатенко, или Кондратовича, как его запросто звали, старого партизана, его товарища. Но Шульга не видел Кондратовича пятнадцать лет и почувствовал, что ему очень и очень не хочется именно сейчас идти к Ивану Гнатенко.

Ему нужен был сейчас человек очень близкий. И Матвей Костиевич стал вспоминать, кто же есть в Краснодоне из тех, с кем он особенно был близок во время того подполья, в 1918–1919 годах.

Самым близким ему человеком был здешний уроженец, большевик с 1917 года, Леонид Рыбалов. Вместе они были в подполье при немцах и белых, вместе создавали советскую власть. Матвей Шульга был тогда рядовым человеком, а имя Рыбалова гремело в области. Потом пришли другие времена, разворачивалось хозяйство, а Рыбалов больше умел «давить контру» и говорить речи, и жизнь все отодвигала его в сторону, а как раз Шульга пошел в гору. И как-то так случилось, что дружба их сама собой распалась, а потом Леонид Рыбалов и вовсе был переброшен из Донбасса на работу в инвалидной кооперации.

Но тут Матвей Костиевич вспомнил сестру Леонида Рыбалова, Лизу, и на большом лице его с вьевшимися на всю жизнь крапинами угля выступила детская улыбка. Он вспомнил Лизу Рыбалову, какой она была в те годы, стройная, светловолосая, бесстрашная, с резкими движениями и голосом, быстроглазая, вспомнил, как она носила ему и Леониду, брату ее, еду на Сеняки и как она смеялась, сверкая белыми зубами, когда Шульга все шутил, что жалко, мол, у меня жинка, а то бы я за тобой присватал. И она ж хорошо знала жену его! Лет десять-двенадцать тому назад он как-то встретил ее на улице и один раз, кажется, на каком-то женском собрании. Помнится, она была уже замужем. Да, она сразу же после гражданской войны вышла за какого-то Осьмухина. Этот Осьмухин служил потом в тресте. Он же сам, Матвей Шульга, был в жилищной комиссии, когда им давали квартиру в стандартном доме где-то на той улице, что идет к шахте № 5.

Он все вспоминал Лизу такой, какой он знал ее в дни молодости, и на него с такой силой нахлынули воспоминания тех молодых дней, что он снова почувствовал себя молодым, и все, что предстояло ему теперь, вдруг тоже представилось ему как бы освещенным светом его молодости. «Она не могла измениться, – думал он, – муж ее, Осьмухин, тоже вроде свой был человек... А, куда ни шло, задери его черт, зайду к Лизе Рыбаловой! Может, они не уехали, может, сама судьба ведет меня до них. А может, она уже одна живет?» – с волнением думал он, спускаясь к переезду. За десять лет, что он тут не был, весь этот район застроился каменными домами, и теперь уже трудно было разобраться, в каком из них могут жить Осьмухины. Долго ходил он по притихшим улицам, среди домов с закрытыми ставнями, не решаясь зайти и спросить. Наконец он сообразил, что надо ориентироваться по копру шахты № 5, видневшемуся далеко в степи, и когда он пошел улицей, глядевшей прямо на копер, он сразу нашел домик Осьмухиных.

Окна с цветами на подоконниках были распахнуты, – ему почудились молодые голоса в комнатах, и сердце его забило, как в молодости, когда он постучал в дверь. Наверно, его не слышно было; он постучал еще раз. За дверью послышались шаги в мягкой обуви. Перед ним стояла Лиза Рыбалова, Елизавета Алексеевна, в домашних туфлях, с лицом одновременно и злым, и полным горечи, с опухшими, красными от слез глазами. «Эге, как потрепала ее жизнь», – мгновенно подумал Шульга.

Но все же он сразу узнал ее. У нее и в молодости бывало это резкое выражение не то раздражения, не то злости, но Матвей Костиевич знал, как она на самом деле была добра. Она по-прежнему была стройна, и в светлых ее волосах не было седины, но продольные морщины, морщины тяжелых переживаний и труда, легли по лицу ее. И одета она была как-то неряшливо, – раньше она никогда не допускала себя до этого. Она недружелюбно и вопросительно смотрела на незнакомого человека, который стоял на крыльце ее дома. И вдруг выражение удивления и словно отдаленной радости, возникшей где-то за стоящими в глазах слезами, появилось в лице ее.

– Матвей Константинович... Товарищ Шульга! – сказала она, и рука ее, державшая скобу двери, беспомощно упала. – Каким вас ветром занесло? В такое время.

– Трошки извини, Лиза, чи Елизавета Алексеевна, не знаю, як прикажеш звать... Еду вот на восток, эвакуируюсь, забежал проведать...

– То-то, что на восток – все, все на восток! А мы? А дети наши? – вдруг сразу возбужденно заговорила она, нервными движениями быстро поправляя волосы, глядя на него не то злыми, не то очень замученными глазами. – Вы вот едете на восток, товарищ Шульга, а сын мой лежит после операции, а вы вот едете на восток! – повторяла она, точно именно Матвей Костиевич не раз был ею предупрежден о том, что так может быть, и вот именно так и случилось, и он был виноват в этом.

– Извините, не сердчайте, – сказал Матвей Костиевич очень покойно и примирительно, хотя в душе его внезапной грустью отозвалась какая-то тоненькая-тоненькая струна. «Вот ты какая оказалась, Лиза Рыбалова, – отозвалась эта струна, – вот как ты встретила меня, милая моя Лиза!»

Но он многое видел в своей жизни и владел собой.

– Скажите толком, что у вас приключилось такое? – Он тоже перешел на «вы».

– Да уж и вы извините, – сказала она все в той же резкой манере. Тень давнишнего доброго отношения снова появилась в лице ее. – Заходите... Только у нас такое идет! – Она махнула рукой, и на ее красных подпухших глазах снова выступили слезы.

Она отступила, приглашая его пройти. Он вслед за ней вошел в полутемную переднюю. И сразу в распахнутую дверь, в залитой солнцем комнате направо, увидел трех или четырех парубков и девушку, стоявших возле кровати, на которой полулежал на подушке, покрытый выше пояса простыней, подросток-юноша с когда-то сильно загорелым, а теперь побледневшим лицом, с темными глазами, в белой майке с отложным воротничком.

В одном из парубков, в кепке и с вещевым мешком за плечами, Шульга по одежде и каким-то запавшим в памяти движениям признал того самого парубка, что целовался с девушкой возле машины.

– Это к сыну прощаться пришли. Вы сюда пройдите. – Елизавета Алексеевна указала ему в комнату напротив.

Комната была с теневой стороны дома, в ней было темновато и прохладно.

– Так здравствуйте ж поперву, – сказал Матвей Костиевич, снимая кепку и обнажая крупную, стриженную под машинку, иссера-черную, с пробрызнувшей кое-где сединой голову, и протянул руку. – Не знаю, як уже вас и называть – Лиза, чи Елизавета Алексеевна?

– Зовите, как вам удобнее. За важностью не гонюсь и величанья не требую, а только какая уж я Лиза? Была Лиза, а теперь... – Она резко махнула рукой и замученно и виновато, и в

то же время как-то очень женственно взглянула на Матвея Костиевича своими подпухшими светлыми глазами.

– Для меня ты всегда будешь Лиза, бо я уже сам старый, – улыбнулся Шульга, садясь на стул. Она села напротив него. – А коли я уже старый, извини, начну прямо с замечания тебе, – все с той же улыбкой, но очень серьезно продолжал Шульга. – На то, что я еду на восток и другие наши люди едут на восток, на то ты серчать не должна. Сроку нам немец проклятый не отпустил. Когда-то ты вроде была своя жинка, значит, могу тебе сказать, что он, тот немец проклятый, ударил с Миллерова на Морозовскую – значит, целит на Сталинград; значит, вышел нам в глубокий тыл...

– А нам с этого разве легче? – с тоской сказала она. – Вы ж едете, а мы остаемся...

– Кто же в том виноват? – сказал он, помрачнев. – Мы семьи, такие, как ваша, – сказал он, вспомнив свою семью, – с начала войны и досе вывозили на восток, и помощь давали, и транспорт. Мало сказать семьи – мы тысячи, десятки тысяч рабочих людей вывезли на Урал, в Сибирь. Чего ж вы в свое время не ехали? – спросил Матвей Костиевич со все более возникшим в нем горьким чувством.

Она молчала, и в том, как она сидела, неподвижно, прямо, точно прислушиваясь к тому, что происходило в другой комнате, через переднюю, чувствовалось, что она плохо слушает его. И сам он невольно стал прислушиваться к тому, что происходит в той комнате.

Оттуда доносились только редкие тихие звуки голосов, и нельзя было понять, что там происходит.

Ваня Земнухов, при всей его настойчивости и хладнокровии, которые у товарищей его вошли даже в поговорку, так и не нашел подводы или места в машине для Володи Осьмухина и вернулся домой, где он застал истомившегося от ожидания Жору Арутюнянца. Отец тоже был уже дома, и по этому признаку Ваня понял, что Ковалевы уехали.

Жора Арутюнянец был сильно вытянувшийся в длину, но все же на полголовы ниже Земнухова, очень черный от природы да еще сильно загоревший семнадцатилетний юноша, с красивыми, в загнутых ресницах, армянскими черными глазами и полными губами. Он смахивал на негра. Несмотря на разницу в годах, они сдружились за эти несколько дней: оба они были страстные книгочеи. Ваню Земнухова даже называли в школе профессором. У него был только один парадный, серый в коричневую полоску, костюм, который он надевал в торжественных случаях жизни и который, как все, что носил Ваня, был ему уже коротковат. Но когда он поддевал под пиджак белую с отложным воротничком сорочку, повязывал коричневатый галстук, надевал свои в черной роговой оправе очки и появлялся в коридоре школы с карманами, полными газет, и с книгой, которую он нес в согнутой руке, рассеянно похлопывая себя ею по плечу, шел по коридору вразвалку, неизменно спокойный, молчаливый, с этим скрытым вдохновением, которое таким ровным и ясным светом горело в душе его, отбрасывая на бледное лицо его какой-то дальний отсвет, – все товарищи, а особенно ученики младших классов, его питомцы-пионеры, с невольным почтением уступали ему дорогу, как будто он и в самом деле был профессором.

А у Жоры Арутюнянца даже была заведена специальная разграфленная тетрадь, куда он заносил фамилию автора, название каждой прочитанной книги и краткую ее оценку. Например:

«Н. Островский. Как закалялась сталь. Вот здорово.

А. Блок. Стихи о прекрасной даме. Много туманных слов.

Л. Толстой. Хаджи-Мурат. Хорошо показана освободительная борьба горцев.

С. Голубов. Солдатская слава. Недостаточно показана освободительная борьба горцев.

Байрон. Чайльд-Гарольд. Непонятно, почему это произведение так волновало умы, если его так скучно читать.

В. Маяковский. Хорошо. (Нет никакой оценки.)

А. Толстой. Петр Первый. Здорово. Показано, что Петр был прогрессивный человек».

И многое другое можно было прочесть в этой его разграфленной тетрадке. Жора Арутюнянц вообще был очень аккуратен, чистоплотен, настойчив в своих убеждениях и во всем любил порядок и дисциплину.

Все эти дни и ночи, занимаясь эвакуацией школ, клубов, детских домов, они, ни на минуту не умолкая, с жаром говорили о втором фронте, о стихотворении «Жди меня», о Северном морском пути, о кинокартине «Большая жизнь», о работах академика Лысенко, о недостатках пионердвижения, о странном поведении правительства Сикорского в Лондоне, о поэте Шипачеве, радиодикторе Левитане, о Рузвельте и Черчилле и разошлись только в одном вопросе: Жора Арутюнянц считал, что гораздо полезнее читать газеты и книги, чем гонять по парку за девочками, а Ваня Земнухов сказал, что он лично все-таки гонял бы, если бы не был так близорук.

Пока Ваня прощался с плачущей матерью, старшей сестрой и сердито сопевшим, крякавшим и старавшимся не глядеть на сына отцом, который в последний момент, однако, перекрестил его и вдруг припал к его лбу сухими горячечными губами, – Жора убеждал Ваню, что если он не достал подводы, то нет уже и смысла заходить к Осьмухиным. Но Ваня сказал, что он дал слово Толе Орлову и надо зайти и объяснить все. Они вскинули за плечи вещевые мешки, Ваня взглянул в последний раз на свой любимый угол у изголовья кровати, где висел литографированный портрет Пушкина работы художника Карпова, изданный украинским издательством в Харькове, и стояла этажерка с книгами, среди которых главное место занимали собрание сочинений Пушкина и маленькие томики поэтов пушкинской поры, изданные «Советским писателем» в Ленинграде, – Ваня взглянул на все это, преувеличенно резким движением насунул на глаза кепку, и они пошли к Володе Осьмухину.

Володя, в белой майке, покрытый до пояса простыней, полулежал на постели. На кровати его лежала раскрытая книга, которую он, должно быть, еще сегодня утром читал, – «Релейная защита».

В углу у окна, за кроватью, кое-как свалены были, чтобы не мешали убирать комнату, всевозможные инструменты, мотки провода, самодельный киноаппарат, части радиоприемника, – Володя Осьмухин увлекался изобретательством и мечтал быть инженером-авиаконструктором.

Толя Орлов, по прозвищу «Гром гремит», лучший друг Володи и круглый сирота, сидел на табуретке возле кровати. «Гром гремит» его прозвали за то, что он вечно, и зимой и летом, был простужен и гулко кашлял, как в бочку. Он сидел, ссутулившись и широко расставив крупные колени. Все его суставы и сочленения в локтях, кистях, коленях, стопы и голени были неестественно развиты, мосласты. Густые серые вихры торчали во все стороны на крупной голове его. Выражение глаз у него было грустное.

– Ходить, значит, никак не можешь? – спрашивал Земнухов Володю.

– Куда ж ходить, доктор сказал – шов разойдется, кишки вывалятся! – мрачно сказал Володя.

Он был мрачен не только потому, что сам вынужден был остаться, а и потому, что из-за него оставались мать и сестра.

– А ну, покажи шов, – сказал распорядительный Жора Арутюнянц.

– Что вы, он же у него забинтован! – испугалась сестра Володи Людмила, или Люся, стоявшая в ногах его, облокотившись о спинку кровати.

– Не беспокойтесь, все будет в совершенном порядке, – с вежливой улыбкой и приятным армянским акцентом, придававшим его словам особенную значительность, сказал Жора. – Я прошел сам всю школу первой помощи и великолепно разбинтую и забинтую...

– Это негигиенично! – протестовала Люся.

– Новейшая военная медицина, которой приходится работать в невыносимых полевых условиях, доказала, что это предрассудки, – безапелляционно сказал Жора.

– Это вы о чем-нибудь другом вычитали, – сказала Люся надменно. Но через мгновение она уже с некоторым интересом посмотрела на этого черного негритянского мальчика.

– Брось ты, Люська! Ну, я понимаю еще – мама, она человек нервный, а ты что вместишься не в свои дела! Уходи, уходи! – сердито говорил Володя сестре и, откинув простыню, открыл свои настолько загорелые и мускулистые худые ноги, что никакая болезнь и лежание в больнице не могли истребить этот загар и эти развитые мышцы.

Люся отвернулась.

Толя Орлов и Ваня поддерживали Володю, а Жора приспустил его синие трусы и разбинтовал его. Шов гноился и был в отвратительном состоянии, и Володя, делая усилия, чтобы не морщиться от боли, сильно побледнел.

– Дрянь дело. Да? – сказал Жора морщась.

– Дела не важнец, – согласился Ваня.

Они молча и стараясь не глядеть на Володю, узкие коричневые глаза которого, всегда светившиеся удалью и хитрецей, теперь грустно и заискивающе ловили взгляды товарищей, снова забинтовали его.

Теперь им предстояло самое трудное: они должны были покинуть товарища, зная о том, что ему угрожает.

– Де же чоловік твой, Лиза? – спрашивал в это время Матвей Костиевич, чтобы перевести разговор.

– Умер, – жестко сказала Елизавета Алексеевна. – В прошлом году как раз перед войной умер. Он все болел и умер, – несколько раз повторила она с злым, как показалось Шульге, укором. – Ах, Матвей Константинович! – сказала она с мукой в голосе. – Вы теперь тоже стали из людей власти, а если б вы знали, как тяжело нам сейчас, простым людям! Ведь вы же власть наша, для простых людей, ведь я же помню, из каких вы людей, – таких же, как и мы. Я помню, как мой брат и вы боролись за нашу жизнь, и я вас ни в чем не виню, я знаю, нельзя вам, таким людям, остаться на погибель, но неужто ж вы не видите, что вместе с вами, все побросав, бежит всякая сволочь, мебель с собой везет, целые грузовики барахла, и нет им никакого дела до нас, простых людей, обывателей, как другие говорят, а ведь мы, маленькие люди, все это сделали своими руками. Ах, Матвей Константинович! И неужто ж вы не видите, что этим сволочам вещи, извините меня, дороже, чем мы, простые люди? – воскликнула она с искривившимися от муки губами. – А потом вы удивляетесь, что и среди нас, простых людей, находятся такие люди, что обижаются. А я удивляюсь, как еще терпеливы мы, простые люди, ведь один раз в жизни пережить такое – ведь во всем, во всем разувериться!

Впоследствии Шульга не раз с мучительным волнением и скорбью вспоминал этот момент их разговора. Самое непоправимое было то, что он в глубине души понимал, какие чувства владели этой женщиной, и в душе его, широкой и сильной, были настоящие слова для нее. Но в тот момент, когда она так говорила, с прорвавшейся в ней мукой и, как ему казалось, злобой, ее слова и весь ее облик так противоречили представлению о той Лизе, которую он знал в дни молодости, так поразили его несоответствием тому, что он ожидал! И оскорбительным вдруг показалось ему, что, когда он сам оставался здесь, а вся семья его была уже в руках немцев, может быть, уже погибла, она, эта женщина, говорила только о себе, даже не спросила о его семье, о жене, с которой она была дружна в молодости. И с губ Шульги вдруг тоже сорвались слова, о которых он вспоминал потом с сожалением.

– Далеко вы заехали, Елизавета Алексеевна, в мыслях своих, – сказал он холодно, – далеко! Оно удобно, конечно, разувериться в своей власти, когда немецкая власть на пороге. Чуете? – сказал он, грозно подняв руку с коротким, поросшим волосом пальцем, и раскаты дальней артиллерийской стрельбы точно ворвались в комнату. – А думали вы, сколько там гибнет лучшего цвету народа нашего, тех, что из простых людей поднялись до власти, як вы кажете, а я скажу – поднялись до сознания, шо вони цвет народа, коммунисты! И коли вы

разуверились в тех людях, разуверились в такой час, когда нас немец топчет, мне на то обидно. Обидно и жалко вас, жалко, – грозно повторил он, и губы его задрожали, как у ребенка.

– Да вы что это?.. Что это?.. Вы... вы хотите обвинить меня, что я немцев жду? – задохнувшись и еще больше распаляясь от того, что он ее так понял, резко вскричала Елизавета Алексеевна. – Ах, вы... А сын мой?.. Я мать!.. А вы...

– А разве вы забыли, Елизавета Алексеевна, когда мы с вами были простые рабочие люди, как вы кажете, и вставала нам опасность от немцев, от белых, разве мы поперву о себе думали? – не слушая ее, говорил Матвей Костиевич с горьким чувством. – Нет, мы поперву не о себе думали, а думали о лучших наших людях – вожаках, вот о ком мы думали! Вспомните-ка брата вашего. Вот как всегда думали и поступали мы, рабочие люди! Спрятать, уберечь вожаков наших, лучших людей, цвет наш, а самим стать грудью, – вот как всегда думал и думает рабочий человек, и думать иначе считает для себя позором! Неужто ж вы так изменились с той поры, Елизавета Алексеевна?

– Обождите! – вдруг сказала она и вся выпрямилась, прислушиваясь к тому, что происходило в другой комнате через переднюю.

И Шульга тоже прислушался. В той комнате наступила тишина, и эта тишина подсказала матери, что там что-то происходит. Она, мгновенно забыв о Матвее Костиевиче, резко рванулась в дверь и прошла к сыну. Матвей Костиевич, недовольный собой, хмуро сминая в больших, поросших темным волосом руках кепку, вышел в переднюю. Сын Елизаветы Алексеевны, полулежа на постели, прощался с товарищами, долго, молча пожимая им руки, взволнованно и нервно дергая шею и темной, остриженной под машинку, уже несколько обросшей головой. Как это ни странно было в его положении, на лице у него было выражение радостного подъема, темные узкие глаза его блестели. Один из его товарищей, вихрастый, неуклюжий, мосластый, стоял у его изголовья и, отвернувшись так, что лицо его видно было только в профиль, с просветленным выражением, расширенными глазами смотрел в солнечное распахнутое окно.

А девушка по-прежнему стояла у больного в ногах и улыбалась. И у Матвея Костиевича вдруг больно сжалось сердце, когда в этой девушке он узнал прежнюю Лизу Рыбалову. Да, это была Лиза, какой он ее знал более двадцати лет назад, только более смягченная, чем та работница Лиза, с немного большеватыми руками и резкими движениями, которую он знал и любил.

«Да, треба идти», – с грустью подумал он, сминая в руках кепку, и неловко переступил по скрипящим половицам.

– Уходите? – громко спросила Елизавета Алексеевна, рванувшись к нему.

– Як кажут, ничего не попишешь, пора уже ехать. Не сердчайте. – И он надел кепку.

– Уже? – повторила она. Не то горькое чувство, не то сожаление прозвучало в этом ее вопросе-восклицании, а может быть, ему так показалось. – Не сердчайте вы... Дай же вам Бог, коли он есть, счастливо добратся, не забывайте нас, помните о нас, – говорила она, беспомощно опустив руки. И что-то такое доброе, материнское звучало в ее голосе, что к горлу его вдруг подкатил комок.

– Прощайте, – хмуро сказал Матвей Костиевич и вышел на улицу.

Ах, напрасно, напрасно ушел ты, товарищ Шульга! Напрасно ты покинул Елизавету Алексеевну и эту девушку, которая так походила на прежнюю Лизу Рыбалову, напрасно не вдумался, не вчувствовался в то, что произошло на твоих глазах между этими юношами, даже не поинтересовался тем, кто они, эти юноши!

Если бы Матвей Костиевич не поступил так, может быть, вся его жизнь сложилась по-иному. Но он тогда не только не мог понимать это, он был даже чем-то обижен и оскорблен. И ему ничего уже не оставалось, как идти в дальний район, который в старину назывался Голубятниками, разыскивать домик своего товарища по старому партизанству, Ивана Гнатенко,

или запросто Кондратовича, у которого он не был пятнадцать лет. Мог ли он думать, что в этот момент он делал первый шаг по тому пути, который привел его к гибели. А вот что произошло в последнюю минуту перед тем, как он вслед за Елизаветой Алексеевной вышел в переднюю, – вот что произошло в комнате, где лежал сын Елизаветы Алексеевны.

Там стояло тягостное молчание. И тогда поднялся с табурета Толя Орлов, тот самый Толя Орлов, которого все время сотрясали приступы гулкого кашля оттого, что он всегда был плохо одет и простуда гнездилась у него в костях, за что и прозвали его «Гром гремит», – он поднялся с табурета и сказал, что если уж его лучший друг Володя не может уехать, то он, Толя Орлов, останется с ним.

В первое мгновение все растерялись. Потом Володя прослезился и стал целовать Толю Орлова, и всеми овладело радостное возбуждение. Люся, та бросилась «Грому гремит» на шею, стала целовать его в щеки, в глаза, в нос, – он не знал минуты счастливее этой. Потом Люся сердито посмотрела на Жору Арутюнянца. Ей очень хотелось, чтобы этот аккуратный юноша-негр тоже остался.

– Вот здорово! Вот это товарищи! Вот это молодец, Толя! – довольным глуховатым баском говорил Ваня Земнухов. – Я горжусь тобой... – вдруг сказал он. – Я и вот Жора Арутюнянц, мы гордимся тобой, – поправился он.

И он пожал Толе руку, и Жора тоже пожал Толе руку.

– Да разве мы будем просто так жить? – с блестящими глазами говорил Володя. – Мы будем бороться, правда, Толя? И не может быть, чтобы здесь никого не оставили от райкома партии для подпольной работы. Мы их найдем! Разве мы не сможем быть полезны!

Глава 9

Ваня Земнухов и Жора Арутюнянц, простившись с Володией Осьмухиным, влились в поток беженцев, катившийся вдоль железной дороги на Лихую.

Первоначальный план их пути был на Новочеркасск, где у Жоры Арутюнянца была влиятельная, как он сказал, родня, могущая помочь в дальнейшем передвижении, – там дядя его работал сапожником при станции. Но Ваня, которому Жора подчинялся как старшему товарищу, узнав, что Ковалевы едут на Лихую, в последнюю минуту предложил Жоре этот новый маршрут, очень туманно сформулировав его преимущества. И Жора, которому было решительно все равно, куда ни идти, с готовностью изменил свой довольно ясный маршрут на туманный маршрут Земнухова.

На одном из этапов пути к ним присоединился маленький, кривоногий и донельзя усатый майор в сильно помятой гимнастерке с гвардейским значком с правой стороны груди, в сухих покоробленных сапогах. Его военная форма, особенно сапоги, находилась в таком горестном состоянии оттого, что, так он пояснил, она в течение пяти месяцев, пока он излечивался от ран, валялась, «черт знает где», то есть в госпитальной кладовой.

Последнее время госпиталь занимал одно из отделений краснодонской главной больницы и теперь эвакуировался, но за недостатком транспорта всем, кто мог ходить, предложено было идти пешком, и еще более ста тяжело раненных осталось в Краснодоне без всякой надежды выбраться.

Кроме этого пространного объяснения судьбы своей и своего госпиталя, майор во весь остальной путь не произнес ни слова. Он был до крайности молчалив, он молчал упорно и совершенно безнадежно. Кроме того, майор хромал. Но, несмотря на свою хромоту, он довольно ретиво шагал в своих покоробленных сапогах, не отставая от ребят, и вскоре внушил такое уважение к себе, что ребята, о чем бы ни говорили, обращались к нему, как к молчаливому авторитету.

В то время, когда множество людей, пожилых и молодых, и не только женщин, а мужчин с оружием в руках, страдало и мучилось в этом нескончаемом потоке отступления, Ваня и Жора, с вещевыми мешками за плечами, закатав рукава выше локтей, неся в руках кепки, шагали по степи, полные бодрости и радужных надежд.

Их преимущество перед другими людьми было в том, что они были совсем юны, одиноки, не знали, где находится враг и где свои, не верили слухам, и весь свет с этой необъятной степью, раскаленным солнцем, дымом пожаров и пылью, тучей стоявшей в районе дорог, которые то там, то здесь бомбил и обстреливал немец, – весь свет казался им открытым на все четыре стороны.

И говорили они о вещах, которые не имели никакого отношения к тому, что происходило вокруг.

– Почему же ты считаешь, что быть юристом не интересно в наши дни? – спрашивал Ваня своим глуховатым баском.

– Потому что, пока идет война, надо быть военным, а когда война кончится, надо быть инженером, чтобы восстанавливать хозяйство, а юристом – это сейчас не главное, – говорил Жора с той четкостью и определенностью суждений, которая была ему свойственна, несмотря на его семнадцать лет.

– Да, конечно, пока идет война, я хотел бы быть военным, но военным меня не берут – по глазам. Когда ты отходишь от меня, я уже вижу тебя как что-то неопределенно-долговязое и черное, – с усмешкой сказал Ваня. – А инженером быть, конечно, очень полезно, но тут дело в склонности, а у меня склонность, как ты знаешь, к поэзии.

– Тогда тебе нужно идти в литературный вуз, – очень ясно и четко определил Жора и посмотрел на майора, как на человека, который единственный может понимать, насколько он, Жора, прав. Но майор никак не отозвался на его слова.

– А вот этого я как раз и не хочу, – сказал Ваня. – Ни Пушкин, ни Тютчев не проходили литературного вуза, да тогда и не было такого, и вообще научиться стать поэтом в учебном заведении нельзя.

– Всему можно научиться, – отвечал Жора.

– Ваня, ты знаешь, я всегда с удовольствием читал твои стихи и в стенгазете, и в журнале «Парус», который вы выпускали с Кошевым.

– Ты читал этот журнал? – живо переспросил Ваня.

– Да, я читал этот журнал, – торжественно сказал Жора, – я читал наш школьный «Крокодил», я следил за всем, что издается в нашей школе, – сказал он самодовольно, – и я тебе определенно скажу: у тебя есть талант!

– Уж и талант, – смущенно покосившись на майора, сказал Ваня и кивком головы закинул свои рассыпавшиеся длинные волосы. – Пока что так, кропаем стишки... Пушкин – вот это да, это мой бог!

– Нет, ты здорово, помню, Ленку Позднышеву продернул, что она все у зеркала кривляется... Ха-ха!.. Очень здорово, ей-богу! – с сильно прорвавшимся армянским акцентом воскликнул Жора. – Как, как это? «Прелестный ротик открывала...» Ха-ха...

– Ну, ерунда какая, – смущенно и глуховато басил Ваня.

– Слушай, а у тебя любовных стихов нет, а? – таинственно сказал Жора. – Слушай, прочти что-нибудь любовное, да? – И Жора подмигнул майору.

– Какие там любовные, что ты, право! – окончательно смутился Ваня.

У него были любовные стихи, посвященные Клавье и озаглавленные, совсем как у Пушкина: «К...». Именно так – большое «К» и многоточие. И он снова вспомнил все, что произошло между ним и Клавой, и все мечты свои. Он был счастлив. Да, он был счастлив среди всеобщего несчастья. Но разве он мог поделиться этим с Жорой?

– Нет, наверно, у тебя есть. Слушай, прочти, ей-богу, – сверкая мальчишескими армянскими глазами, упрашивал Жора.

– Брось глупости говорить...

– Неужели, правда, не пишешь? – Жора вдруг стал серьезным, и в голосе его появилась прежняя учительская нотка. – Правильно, что не пишешь. Разве сейчас время писать любовные стихи, как этот Симонов, да? Когда надо воспитывать народ в духе непримиримой ненависти к врагу? Надо писать политические стихи! Маяковский, Сурков, да? Здорово!

– Не в этом дело, писать можно обо всем, – раздумчиво сказал Ваня. – Если мы родились на свет и живем жизнью, о которой, может быть, мечтали целые поколения лучших людей и боролись за нее, мы можем, имеем право писать обо всем, чем мы живем, это все важно и неповторимо.

– Ну, ей-богу, прочти что-нибудь! – взмолился Жора.

Невыносимая духота стояла в воздухе; они шли, то смеясь и вскрикивая, то переходя на тон интимно-доверительный; шли и жестикулировали, спины под вещевыми мешками были у них совсем мокрыми; пыль оседала на лицах, и, отирая пот, они размазывали ее по лицу, и оба они – и смуглый, как негр, Жора, и Ваня, с длинным лицом, с бледным загаром, – и даже усатый майор – походили на трубочистов. Но весь мир в эту минуту был для них – и они нисколько не сомневались в том, что и для майора, – сосредоточен на том, о чем они говорили.

– Ну что ж, я прочту...

И Ваня, не волнуясь, спокойным глуховатым голосом прочел:

Нет, нам не скучно и не грустно,

Нас не тревожит жизни путь.
Измен неизвестные чувства,
Нет, не волнуют нашу грудь.

Бегут мятежной чередой
Счастливой юности лета,
Мечты игривою толпою
Собой наполнили сердца.

Нам чуждо к жизни отвращенье,
Чужда холодная тоска,
Бесплодной юности сомненья
И внутренняя пустота.

Нас радости прельщают мира,
И без боязни мы вперед
Взор устремляем, где вершина
Коммуны будущей зовет.

– Здорово! У тебя определенный талант! – воскликнул Жора, с искренним восхищением глядя на старшего товарища.

В это время майор издал горлом какой-то странный звук, и Ваня и Жора обернулись к нему.

– Вы, ребята... вы даже не знаете, какие вы ребята! – сипло сказал майор, с волнением глядя на них своими глубоко спрятанными под нависшими бровями влажными глазами. – Нет! Такое государство стояло и будет стоять! – вдруг сказал он и с ожесточением погрозил кому-то в пространство коротким черным пальцем. – Он думает, он у нас жизнь прекратил! – с издевкой в голосе продолжал майор. – Нет, брат, шалишь! Жизнь идет, и наши ребятишки думают о тебе, как о чуме или холере. Пришел – и уйдешь, а жизнь своим чередом – учиться, работать! А он-то думал! – издевался майор. – Наша-то жизнь навеки, а он кто? Прыщ на гладком месте, – скovyрнул, и нет его!.. Ничего! Я в этом проклятом госпитале сам было пал духом, – неужто ж, думаю, на него и силы нет, а как я к вам пришвартовался и иду, у меня полное обновление души... Думаю, многие клянут сейчас нас, армейцев, а разве можно? Отступаем – верно. Так ведь он какой кулак собрал! Но подумайте, какая сила духа! Ах, боже мой! Да это счастье – стоять на месте, не отступать, жизнь отдать, – поверьте совести, я сам бы почел за счастье жизнь отдать, отдать жизнь за таких ребят, как вы! – с волнением, сотрясавшим его легкое сухое тело, говорил майор. Ваня и Жора, смолкнув, с растерянным и добрым выражением смотрели на него.

Майор высказался, поморгал, отер усы грязным носовым платком и смолк, и так молчал уже до самой ночи. А ночью майор с внезапной энергией и яростью кинулся «рассасывать», как он выразился, гигантскую пробку из машин, подвод и артиллерийского обоза, и Ваня и Жора навсегда потеряли его из виду и тотчас же забыли про него.

До Лихой они добивались двое суток. К тому времени уже стало известно, что Каменск занят немцами, на юге бои идут под Новочеркасском, а по той стороне Донца, в широком степном пространстве между Донцом и Доном, действуют прорвавшиеся немецкие танки и моторизованные части. Но, по слухам, переправа через Донец у Белокалитвенской была в наших руках, и еще можно было по степным проселкам свободно выйти на Дон и переправиться через него.

В последнюю ночь, измученные несколькими днями пути под слепящим солнцем, Ваня и Жора, не чуя ног, свалились спать на каком-то хуторе, на сеновале. Их разбудили гулкие бомбовые удары, от которых дрожала пунька.

Солнце еще невысоко стояло над степью, но уже по всему пространству хлебов переливалось знойное, голубовато-золотистое марево, когда Ваня и Жора подходили к гигантскому табору машин, людей и подвод, раскинувшемуся по эту сторону Донца, немного ниже обширной станицы-города, на той стороне реки, с зелеными садами, каменными зданиями правительственных и торговых учреждений и школ, многие из которых были превращены в руины бомбардировкой с воздуха и еще дымились.

Весь этот гигантский табор, текущий по своему составу, но имевший и своих старожилов, весь этот табор, пополняясь новыми людьми и транспортом, образовался здесь уже недели две назад и жил своим особенным, неповторимым бытом. Это была помесь остатков воинских подразделений, коллективов учреждений и предприятий, помесь всех видов транспорта, беженцев всех социальных категорий, всех возрастов и семейных положений. И все усилия, все внимание, вся деятельность этих людей были направлены на то, чтобы как можно ближе придвинуться к реке, к узкой полоске наплавного моста через Донец. Но если все усилия людей, сгрудившихся в таборе, сводились к тому, чтобы попасть на мост, все усилия военных людей, ведавших переправой, сводились к тому, чтобы не пустить этих людей на мост, а в первую очередь дать переправиться отходящим подразделениям Красной Армии, одни из которых шли на поддержку северного заслона южных армий, а другие должны были спешно отступить за Дон.

В этой борьбе индивидуальных и частных воль, усилий и военной, государственной необходимости, в условиях, когда враг вот-вот мог появиться и на том, и на этом берегу Донца и когда слухи, один чудовищнее другого, подогревали взаимно противоречившие страсти и усилия, – в этой борьбе и проходила повседневная жизнь табора.

Иные организации стояли здесь так долго, дожидаясь очереди, что успели нарыть щели в земле. Иные разбили палатки, сложили временные очаги, на которых варили пищу. Лагерь был полон детей. И день и ночь тянулся через Донец сплошной узкий поток машин, людей, подвод, по обеим сторонам которого люди переправлялись на плотах, на лодках. Тысячи голов скота, мыча и блея, теснились на берегу и шли вплавь.

Переправу ежедневно по несколько раз бомбили и обстреливали с самолетов немцы, и тотчас же начинала бить охранявшая переправу зенитная артиллерия, звенели зенитные пулеметы, и весь табор в одно мгновение разлетался по степи. Но только исчезали самолеты, как все вновь возвращалось на свои места. Об убитых уже никто не заботился, их никто не убирал, не хоронил, и они лежали тут же целыми днями, разлагаясь на солнце.

С того момента, как Ваня попал в этот табор, у него уже не было другой цели, как только отыскать машину, на которой ехали Ковалевы. В нем боролись два чувства: он уже начинал понимать, сколь велика опасность, и ему хотелось бы, чтобы Клава с родителями была уже не только по ту сторону Донца, а и по ту сторону Дона, и в то же время он был бы счастлив, если бы встретил Клаву еще здесь.

Они бродили по табору, Ваня и Жора, ища своих краснодонцев, как вдруг от одной из подвод кто-то окликнул их по именам, и Олег Кошевой, их товарищ по школе, загоровший, но, как всегда, свежий, аккуратный, с выражением оживленной деятельности во всей его легкой с широкими плечами фигуре и в поблескивающих глазах с золотистыми ресницами, уже обнимал товарищей сильными, большими руками и крепко целовал в губы.

Они набрали на машину шахты № 1-бис с Валько и Шевцовым, на подводы с Улей и с родней Кошевого и на тот самый детский дом, который выбрался из Краснодона усилиями Вани и Жоры и заведующая которым теперь даже не узнала их.

Глава 10

Во всей той части табора, куда вышли Ваня и Жора и где властвовала жесткая смуглая рука директора шахты № 1-бис Валько, был уже порядок: машины, подводы стояли отдельно, вытянувшись в линии, везде были вырыты щели. Возле грузовика шахты лежал запас дров – несколько метров хуторского плетня, и тетушка Марина и Уля варили из свежей капусты щи с салом.

Он был настоящий хозяин, этот старый цыган Валько. Прихватив своих рабочих и пяти-рых ребят-комсомольцев, Валько тяжелой походкой, так свирепо поглядывая из-под сросшихся черных бровей, что люди расступались перед ним, направился к самой переправе, надеясь наложить свою жесткую руку на все это предприятие.

Как и многие другие крупные деятели хозяйства, руководившие огромного масштаба совершенными предприятиями, научившиеся сокрушать на своем пути любые трудности, Валько в глубине души объяснял отступление на Южном фронте, жертвой которого он стал, не только тем, что немцы сосредоточили здесь превосходящие силы солдат, самолетов и танков, но и тем, что военные люди на фронте еще не научились использовать те совершенные машины и обученных в производстве людей, которые были даны им в руки. То, что на переправе, возле которой сгрудилось всего несколько тысяч людей, машин и подвод, был беспорядок, Валько объяснял этой же причиной и с того момента, как попал сюда, делал все, чтобы навести порядок. И с того момента, как Валько стал наводить порядок, Олег был так же влюблен в Валько, как некоторое время тому назад он был влюблен в Каюткина, а еще некоторое время назад – в Улю.

Исключительная жажда деятельности, желание проявить всего себя, желание вмешаться в жизнь людей, в их деятельность, с тем чтобы внести в нее что-то свое, более совершенное, быстрее оборачивающееся и наполненное новым содержанием, – эта еще не вполне осмысленная, но схватывающая все его существо и составляющая основу его натуры духовная сила овладела Олегом.

– Ой, и д-добре ж, Иван, шо мы с тобой зуст-трились! – чуть заикаясь, весело говорил Олег, шагая рядом с Земнуховым вслед за Валько. – Добре, шо мы зустрілись, бо я дуже по тебе скучився. Видал? А ты кажешь – вирши! У-у, брат!.. – И Олег глазами и пальцем с уважением указал в спину Валько. – Да, брат, главная сила на свете – сила организации! – говорил он, остро поблескивая глазами в золотистых ресницах. – Без нее, видно, самое хорошее и нужное дело ползет – вот как вязаная ткань, надорвется и ползет по ниточкам. Но стоит приложить руку и волю – и...

– И глядишь, тебе же и морду набьют, – не оборачиваясь, сказал Валько.

И ребята по заслугам оценили его мрачный юмор.

Подобно тому, как на фронте, попав во вторые эшелоны армии, трудно судить о размерах и ожесточенности битвы на переднем крае, так и на переправе, находясь где-то в глубоком тылу ее, в последней очереди, нельзя судить об истинных размерах бедствия.

Чем ближе они подходили к переправе, тем запутаннее, непоправимее становилось положение переправляющихся и тем сильнее сгушалось всеобщее ожесточение, которое было уже столь застарелым и столь накаленным, что вряд ли уже какая-нибудь сила, кроме вооруженного вмешательства, могла его разрядить. Стремясь как можно ближе попасть к наплавному мосту, в силу напора задних машин на передние и движения между ними масс людей, все виды транспорта были уже так тесно и непоправимо перепутаны между собой, втиснуты в самых невероятных положениях, что не было уже никакой возможности привести их в иной порядок, кроме как постепенно направлять вперед.

В невыносимой жаре, еще более усиливавшейся от скученности, люди, обливавшиеся потом и проклинаявшие друг друга, находились в той степени каления, когда, казалось, от прикосновения друг к другу они могут взорваться. Неистовая брань стояла в воздухе, и уже нельзя было определить, кто кого ругал.

Военные люди, ведавшие переправой, не спавшие уже много суток, черные от бессонницы, от солнца, на котором они жарились от восхода до заката, от пыли, все время взбиваемой тысячами ног и колес, осипшие от ругани, с воспаленными веками и потными черными руками, доведенные до той степени нервной усталости, когда ничто уже не держалось в этих руках, – продолжали, однако, свою нечеловеческую работу.

Было совершенно ясно, что ничего другого, кроме того, что делали эти люди, уже нельзя было сделать, но Валько все же спустился к самому съезду на мост, и его хриплый голос потерялся среди других голосов и рычания машин.

Олег с товарищами, с трудом пробравшись на берег, стоял и с напряженным вниманием большого ребенка, с выражением разочарования и удивления смотрел, как в этой пыли и жаре с оползшего и размешанного в чудовищное месиво берега один за другим ползут грузовики и подводы, нагруженные с верхом, и все идут и идут люди – потные, грязные, злые, униженные, но идут, идут...

И только Донец, эта любимая с детства река, на среднее течение которой столько раз в своей жизни ездили ребята-школьники купаться и ловить рыбу, только Донец, широкий, плавный в этих местах, катил по-прежнему свои теплые мутноватые воды.

– Нет, все-таки хочется кому-то морду набить! – вдруг сказал Виктор Петров, с грустным выражением в смелых своих глазах смотревший не на переправу, а на реку; он был с хутора Погорелого, вырос на этой реке.

– Тот-то уже, наверно, переправился! – пошутил Ваня. Ребята фыркнули.

– Бить надо не здесь, а там, – холодно сказал Анатолий, кивнув головой в узбекской шапочке на запад.

– Совершенно верно, – поддержал его Жора.

И почти в то же мгновение, как он это сказал, раздался крик:

– Воздух!

И вдруг ударили зенитные пушки, зазвенели пулеметы, послышался рев моторов в небе и пронзительный нарастающий визг обрушившихся бомб.

Ребята упали на землю. Взрывы поближе и более дальние потрясали все вокруг, посыпались комья земли и щепки, и сразу вслед за первой очередью самолетов пронеслась вторая очередь, за нею третья, и визг, и вой, и взрывы рушившихся бомб, огонь зенитных пушек и пулеметов заполнили, казалось, все пространство между степью и небом.

Но вот самолеты прошли, люди стали подыматься с земли, и в это время откуда-то не очень издалека, со стороны хутора, где ночевали Жора и Ваня, послышались округлые выстрелы пушек, и через мгновение, вздымая столбы земли и щепок, в самом таборе с резким грохотом начали рваться снаряды.

Люди, поднявшиеся с земли, частью снова попадали на землю, частью повернули головы в сторону рвущихся снарядов, не упуская в то же время из виду переправы. И по лицам, и поведению военных, ведавших переправой, люди поняли, что произошло что-то непоправимое.

Военные, управлявшие переправой, переглянулись, постояли мгновение, будто прислушиваясь; вдруг один из них бросился в блиндаж у самого спуска к наплавному мосту, а другой закричал вдоль берега, созывая команду.

Через минуту военный выбежал из блиндажа с двумя шинелями через руку и вещевыми мешками в другой руке, которые он тащил за лямки, и оба военных, и бойцы комендантской команды, не строясь, бросились бегом по наплавному мосту, обгоняя машины, вновь начавшие свое движение к мосту и по мосту.

То, что произошло вслед за этим, произошло так внезапно и стихийно, что никто не мог бы сказать, с чего все это началось. Какие-то люди с криком бросились вслед за военными. Какая-то сумятица произошла среди машин на самом съезде: несколько машин разом хлынули на понтон, сцепились, раздался треск, но хотя путь дальше был явно загорожен этими машинами, другие машины, напирая задние на передние, продолжали со страшным ревом моторов обрушиваться в эту кашу из машин на понтоне. Одна машина свалилась в воду, за ней другая, и готовилась свалиться третья, но водитель мощным движением руки приковал ее на тормозе.

Ваня Земнухов, с удивлением смотревший своими близорукими глазами на то, что происходит с машинами, вдруг воскликнул:

– Клава! – И бросился к съезду.

Да, эта третья машина, едва не свалившаяся в воду, была машина Ковалева, где поверх вещей сидели он сам, его жена, дочь и еще какие-то люди.

– Клава! – снова крикнул Ваня, неизвестно как очутившийся у самой машины.

Люди выпрыгивали из нее. Ваня протянул руку, и Клава спрыгнула к нему.

– Кончено!.. К чертовой матери!.. – сказал Ковалев так, что у Вани похолодело сердце.

Клава, руки которой он не решился задерживать долее в своих, искоса, не видя, смотрела на Ваню, и ее била дрожь.

– Идти-то можешь? Скажи, можешь? – срывающимся на плач голосом спрашивал Ковалев жену, которая, держась рукой за сердце, хватала ртом воздух, как рыба...

– Оставь, оставь нас... беги... они убьют тебя... – лепетала она задыхаясь.

– Да что, что случилось? – спросил Ваня.

– Немцы!.. – сказал Ковалев.

– Беги, беги, оставь нас! – повторяла Клава мама. Ковалев, брызнув слезами, схватил Ваню за руку.

– Ваня! – сказал он плача. – Спаси их, не бросай их. Будете живы – в Нижнюю Александровку, там у нас родня... Ваня! У меня на тебя...

Снаряд с грохотом разорвался у самого съезда, в месиве машин. Люди с берега, военные и штатские, лавиной молча хлынули на понтоны.

Ковалев, отпустив руку Вани, сделал порывистое движение к жене, к дочери – видно, хотел проститься, но вдруг, в отчаянии взмахнув обеими руками, вместе с другими людьми побежал по наплавному мосту.

Олег с берега звал Земнухова, но Ваня ничего не слышал.

– Идемте, пока нас не сшибли, – сурово, спокойно сказал он матери Клавы и взял ее под руку. – Идемте к этому блиндажу. Слышите? Клава, иди за мной, слышишь? – строго и нежно говорил он.

Перед тем как они спустились в блиндаж, он еще успел заметить, как бойцы возле зениток, лихорадочно повозившись у орудий, отняли от стволов какие-то тяжелые части и, держа их в руках перед собой, побежали на мост и через некоторое время сбросили тяжелые части в воду. На всем протяжении реки, выше и ниже моста, вплавь перебирались люди и скот. Но Ваня этого уже не видел.

Его товарищи, потеряв из виду и его и Валько, стараясь не поддаться хлынувшему навстречу им людскому потоку, бежали к тому месту, где они оставили свои подводы.

– Держитесь вместе, мы должны быть вместе! – первый проталкиваясь среди людей своими сильными плечами, кричал Олег, оглядываясь на ребят горящими, злыми, желтыми от злости глазами.

Весь табор роился и уже распадался; машины двигались одна возле другой, рыча моторами, а те, что могли пробиться, уползали вдоль берега, вниз по реке.

В то время когда налетели самолеты, тетушка Марина, сидя на корточках, подбрасывала в огонь палки из плетня, которые дядя Коля рубил артиллерийским кинжалом. А Уля сидела

рядом на траве и, задумавшись о чем-то своем, так, что в лице ее, где-то в углах губ и в тонком вырезе ноздрей, обозначились черты мрачной силы, смотрела на то, как Григорий Ильич, сидя в машине на краю, обняв голубоглазую девочку, которую он только что поил молочком, что-то рассказывал девочке на ухо, а девочка смеялась. Машина, вокруг которой играли дети под наблюдением своих нянь и возле которой, безучастная ко всему, сидела заведующая домом, находилась метрах в тридцати от того места, где был разведен костер. Подводы детского дома, так же как и подводы Петрова и Кошевого, стояли в ряду других подвод.

Самолеты налетели так внезапно, что никто не успел броситься в открытые щели в земле и все попадали тут же на землю. Уля, тоже припавшая к земле, услышала вихрем нараставший, точно расширявшийся книзу визг падающей бомбы. И в то же мгновение страшной силы, как разряд молнии, резкий удар разразился, казалось, не только над Улей, а в ней самой. Воздух со свистом прошумел над ней, и на спину посыпалась земля. Уля слышала рев моторов в небе, и снова этот визг, но уже более дальний, и все лежала так, прижавшись к земле. Она не помнила, когда встала и что подсказало ей, что надо и можно встать. Но она вдруг увидела мир, окружавший ее, и из самой глубины ее души вырвался страстный, звериный вопль. Не было перед ней ни машины шахты № 1-бис, ни Григория Ильича, ни этой голубоглазой девочки, — их не было и нигде поблизости. На том месте, где стояла машина, зияла круглая воронка развороченной черной, опаленной земли, а вокруг воронки в разных местах валялись обугленные части машины, изуродованные трупы детей, а в нескольких шагах от Ули шевелился странный, в красном платке, обрубок, вываленный в земле. В этом обрубке она признала верхнюю часть туловища воспитательницы детского дома. А нижней ее части с этими резиновыми ботами, надетыми прямо на чулок, не было нигде, — ее вообще уже не было.

Мальчик лет восьми, с натугой пригибая к земле голову, а ручки закинув назад, как будто он собирался прыгнуть, крутился на месте, притопывая ножкой, и визжал.

Не помня себя, Уля кинулась к мальчику, хотела обнять его, но мальчик с визгом затрепыхался в ее руках. Она приподняла его голову и увидела, что лицо у мальчика вздулось волдырем-отеком и вывороченные белые глаза вылезли из орбит. Уля опустила на землю и зарыдала. Все бежало вокруг, но Уля уже ничего не видела и не слышала. Она почувствовала только, когда Олег Кошевой оказался возле нее. Он что-то говорил и своей большой рукой гладил ее по волосам и, кажется, пытался поднять ее, а она все рыдала, закрыв лицо руками. Звуки пушечной стрельбы и разрывов снарядов, дальний стук пулемета доносились до слуха ее, но все это было ей уже безразлично.

И вдруг она услышала, как Олег своим очень юношеским, звучным, дрогнувшим голосом произнес:

— Немцы...

И это дошло до ее сознания. Она перестала плакать и внезапно выпрямилась. В одно мгновение она узнала стоящих возле нее Олега и всех товарищей своих, отца Виктора, дядю Колю, Марину с ребенком на руках, даже деда, который вез Олега и его родных, — не было только Вани Земнухова и Валько. Все эти люди со странным выражением, напряженно смотрели в одну сторону, и Уля тоже посмотрела в ту сторону. В той стороне не было уже никаких остатков табора, который только что окружал их. Перед ними лежала открытая, залитая солнцем яркая степь под раскаленным небом, в тусклом белом блеске. И в этом белом тусклом блеске воздуха, по яркой степи двигались прямо на них раскрашенные под цвет древесной лягушки зеленые немецкие танки.

Глава 11

Немцы взяли Ворошиловград 17 июля, в 2 часа дня, после ожесточенного боя на опытном сельскохозяйственном поле, где одной из армий Южного фронта был выставлен заслон, на две трети истребленный в этом бою превосходящими силами противника. Оставшаяся треть отступала с боями по линии железной дороги почти до станции Верхнедуданной, пока последний солдат не лег в донецкую землю.

К этому времени все, кто мог и хотел уйти из Краснодона и ближайших районов, ушел или выехал на восток. Но в дальнем Беловодском районе, по незнанию обстоятельств дела и отсутствию транспорта, застряла большая группа учащихся восьмого и девятого классов красдонской школы имени Горького, находившаяся в районе на полевых работах. Вывести эту группу учащихся отдел народного образования поручил учительнице этой же школы, преподавательнице русской литературы, Марии Андреевне Борц, уроженке Донбасса, хорошо знавшей местные условия, женщине энергичной и лично заинтересованной в успехе дела: среди учащихся находилась ее дочь Валя.

Для того чтобы вывезти эту группу учащихся, нужен был всего один грузовик, но Мария Андреевна получила поручение, когда уже никакого транспорта нельзя было достать. Она добиралась до совхоза со всякими оказиями и потратила на это больше суток. Женщина исключительной моральной крепости, измученная тяжелой дорогой и душевной болью за судьбу дочери-комсомолки и всех учащихся, она разрыдалась от душившего ее волнения и чувства благодарности, когда директор совхоза, с невероятным напряжением всего транспорта эвакуировавший имущество совхоза, охрипший от ругани, не спавший и не брившийся уже несколько суток, беспрекословно отдал Марии Андреевне последний грузовик.

Несмотря на то, что тяжесть положения на фронте была хорошо известна в Беловодском районе, до самого приезда Марии Андреевны учащиеся, со свойственной юности беспечностью и доверием к тому, что взрослые вовремя распорядятся ими, находились в том возбужденно-веселом настроении, которое всегда создается, когда собирается много молодых людей в условиях вольной, чудесной природы с естественно завязывающимися между молодыми людьми дружескими романтическими отношениями.

Мария Андреевна не стала раньше времени расстраивать ребят и скрыла от них действительное положение дела. Но по ее нервной озабоченности и спешке, с какой их собирали к выезду домой, ребята поняли, что случилось что-то серьезное и неладное. Настроение сразу упало, у всех появились мысли о доме и – что с ними будет дальше.

Валя Борц, рано сформировавшаяся девушка, с покрытыми золотистым пушком сильно загорелыми руками и ногами, в которых было еще что-то детское, с глазами темно-серыми, в темных ресницах, независимыми и холодноватыми по выражению, с светло-русыми, золотистыми косами и полными яркими губами самолюбивой складки, подружилась за время работы в совхозе с учеником их школы Степой Сафоновым, маленьким, белоголовым, курносым, веснушчатым мальчиком с живыми, что называется, смышленными глазами.

Валя была в девятом классе, а Степа в восьмом, и это могло бы послужить препятствием к их дружбе, если бы Валя дружила с девушками, – а Валя не дружила с девушками, – и если бы среди мальчиков был бы кто-нибудь, кто ей нравился, но ей никто не нравился. Она была начитанной девушкой, хорошо играла на пианино, по своему развитию она выделялась среди подруг и сама знала это и привыкла к поклонению сверстников-юношей. Степа Сафонов подошел ей не потому, что она нравилась ему, а потому, что он ее забавлял; он был действительно смышленный и душевный парень, что скрыто у него было под мальчишеским озорством, верный товарищ и страшный болтун. И именно потому, что сама Валя была не болтлива, никому не поверяла тайн, кроме своего дневника, мечтала о подвигах, – она, как и все, хотела быть

летчицей, – и в мыслях своих представляла своего героя тоже как человека подвига, Степа Сафонов забавлял ее своей болтовней и неистощимыми выдумками.

Впервые Валя отважилась с ним на серьезный разговор и в упор спросила, что он будет делать, если в Краснодоне окажутся немцы.

Она смотрела на него холодно своими темно-серыми, не допускающими в себя глазами, очень серьезно, испытующе, и Степа, беспечный мальчик, увлекавшийся зоологией и ботаникой и всегда думавший о том, что он будет знаменитым ученым, и никогда не думавший о том, что он будет делать, если придут немцы, так же, не задумываясь, сказал, что он будет вести с немцами непримиримую подпольную борьбу.

– Это не болтовня? Это правда? – холодно спрашивала Валя.

– Ну, почему же болтовня? Ну конечно же, правда! – не задумываясь, отвечал Степа.

– Поклянись...

– Ну, клянусь... Конечно же, клянусь... А что же нам иначе делать? Ведь мы же комсомольцы? – удивленно приподняв брови, спрашивал белоголовый Степа, задумавшись наконец над тем, о чем его спрашивали. – А ты? – с любопытством спросил он.

Она приблизила губы к самому его уху и зловещим шепотом оказала:

– Клянус-с-сь...

Потом, прижавшись губами к самому его уху, внезапно фыркнула как лошадка, так что у него чуть не лопнула барабанная перепонка, сказала:

– Все-таки дурак ты, Степка! Дурак и трепач! – И убежала.

Они выехали на ночь. Рябое пятно света от приглушенных фар бежало перед машиной по степи. Огромное темное небо в звездах раскинулось над ними, и такой свежестью веяло из степи – пахло сеном, созревающими хлебами, медом, полынью; тугой и теплый воздух бил в лицо, и трудно было поверить, что, может быть, их дома ждут немцы.

Грузовик был полон ребят. Будь это в другое время, они пели бы всю ночь, аукали в степь, смеялись, целовались бы где-нибудь тайком в закутке. Теперь все ехали съездившиеся, молчаливые, изредка обмениваясь посторонними репликами вполголоса. Вскоре большинство ребят задремало на своих вещичках, прижавшись друг к другу, мотаясь головами на ухабах.

Валя и Степа ехали в машине позади всех – они назначены были дневальными. Степа тоже стал задремывать, а Валя, сидя на своем рюкзаке, все смотрела перед собой в степь, во тьму. Полные губы ее с этим самолюбивым выражением теперь, когда никто не видел ее, сложились по-детски грустно и обиженно.

Вот и не взяли ее в летнюю школу. Сколько раз делала она попытку, а ей отказали, дураки. Жизнь не удалась. Что ждет ее теперь? Степка – болтун. Конечно, она работала бы в подполье, но как это делается и кто этим ведает? И что будет с отцом, – отец Вали был еврей, – и что будет с их школой? Столько силы в душе, даже полюбить никого не успела, и вот каков итог жизни. Жизнь определенно не удалась. Вале не удастся проявить себя перед людьми, выделиться, стяжать славу, поклонение людей. Самолюбивые слезы закипали в ее глазах. Это были все же хорошие слезы, – ей было семнадцать лет, – это были не черствые, себялюбивые, а девичьи бескорыстные мечты сильной натуры.

Ей вдруг почудился за спиной странный звук, такой, будто кошка, вспрыгнув, вцепилась в заднюю стенку грузовика. Она быстро обернулась и чуть вздрогнула. Не то мальчик, не то маленького роста паренек в кепке, худенький, цепкий, ухватившись обеими руками за край грузовика и уже навалившись животом, заносил ногу, чтобы совсем перелезть в кузов, и в то же время быстро оглядывал все, что предстало ему, поблескивающими во тьме глазами.

Хочет ли он стащить что-нибудь? Что он, собственно говоря, хочет? Валя инстинктивно сделала движение рукой, чтобы спихнуть его с машины, потом раздумала и, чтобы избежать переполоха, решила было разбудить Степу.

Но этот мальчик или паренек, необыкновенно быстрый и ловкий в движениях, уже был в машине. Он уже сидел рядом с Вале́й и, приблизив свое лицо со смеющимися глазами к самому ее лицу, приложил к губам палец. Паренек, видно, не знал, с кем он имеет дело. Еще одно мгновение, и ему было бы очень худо, но в это самое мгновение Валя успела рассмотреть его. Это был паренек ее возраста, в задранной на затылок кепке, с лицом давно немывтым, но полным выражения благородной мальчишеской отваги, со смеющимися, поблескивающими во тьме глазами. Это мгновение, в течение которого Валя рассмотрела паренька, решило дело в его пользу.

Валя не сделала никакого движения и не подала голоса. Она смотрела на этого паренька с тем независимым холодноватым выражением, какое всегда появлялось на ее лице, если она была не одна.

– Что за машина? – шепотом спросил паренек, склонившись к ее лицу.

Теперь она могла лучше рассмотреть его. У паренька были чуть курчавые, должно быть, жесткие, волосы, сильная, грубоватая складка губ, тонких, немного выдававшихся вперед, – казалось, под губами немного припухло.

– А что? Не ту подали, которую ты ждал? – холодно отвечала Валя тоже шепотом.

Он улыбнулся.

– Моя в капитальном ремонте, а я так устал, что... – он махнул рукой с выражением: «Мне, мол, все равно».

– Извините, спальные места все заняты, – сказала Валя.

– Я шесть суток не кимарил, часок потерплю, – сказал он с дружеской откровенностью, не обижаясь на нее.

В то же время он быстро оглядывал все, что попадало в поле его зрения, пытаясь разглядеть в темноте лица.

Кузов машины кидало на ходу, и Валя, и этот паренек вынуждены были иногда хвататься за край грузовика. Рука Вали однажды упала на его руку, но Валя тотчас же убрала свою, а паренек вскинул голову и внимательно посмотрел на нее.

– Это кто спит? – спросил он, приблизив лицо к мотавшейся из стороны в сторону белой голове Степы. – Степка Сафонов! – сказал он вдруг не шепотом, а в полный голос. – Знаю теперь, что за машина. Школа Горького? Едете из Беловодского района?

– Откуда ты знаешь Степу Сафопова?

– Мы познакомились у ручья в балке.

Валя подождала развития событий, но паренек больше ничего не сказал.

– Что вы делали у ручья в балке? – спросила она.

– Лягушек ловили.

– Лягушек?

– Точно.

– Зачем?

– Сначала я думал, что он их ловит, чтобы сомов ловить, а оказалась, он ловил их, чтобы резать! – И паренек засмеялся с явной издевкой по отношению к странным занятиям Степы Сафопова.

– А потом что? – спросила она.

– Я его уговорил пойти сомов ловить, и мы пошли на ночь, я поймал двух, одного маленького, на фунт, а другого ничего себе, а Степка ничего не поймал.

– А потом?

– Я уговорил его искупаться со мной на зорьке, он послушался, вылез весь синий и говорит. «Я, – говорит, – оклечетел, как общипанный петел, и уши, – говорит, – у меня полные воды холодной!» – И паренек фыркнул. – Ну, я его научил, как сразу согреться и вылить воду из ушей.

– А как это?

– А одно ухо зажмешь и прыгаешь на одной ноге и кричишь: «Катерина, душка, вылей воду с ушка!» Потом другое ухо – и опять кричишь.

– Теперь я понимаю, как вы подружились, – сказала Валя, чуть дрогнув бровью.

Но он не понял заключенной в ее словах иронии, вдруг стал серьезным и посмотрел вперед, во тьму.

– Поздненько вы, – сказал он.

– А что?

– Думаю, сегодня ночью или завтра утром в Краснодоне немцы будут.

– И что ж, что немцы? – спросила Валя.

То ли она хотела испытать этого парня, то ли ей хотелось показать, что она не боится немцев, – она сама не знала, зачем она так сказала. Он вскинул на нее светлые глаза с прямым и смелым выражением и, снова опустив их, ничего не ответил ей.

Валя ощутила в душе своей внезапное враждебное чувство к нему. И – странное дело – он почувствовал это и сказал примирительно:

– Тикать-то некуда!

– А зачем тикать? – оказала она назло ему.

Но он никак не хотел вступать с ней во враждебные отношения и опять сказал примирительно:

– И то верно.

Ему следовало бы просто назвать себя, чтобы удовлетворить ее любопытство, и отношения их тотчас же наладились бы. Но он или не догадывался об этом или не хотел назвать себя.

Валя самолюбиво молчала, а он стал задремывать, но при каждом толчке машины и при каждом вольном или невольном движении Вали он вскидывал голову.

Во тьме проступили окраинные строения Краснодона. Машина затормозила у первого переезда, не доезжая парка. Никто не охранял переезда, шлагбаумы были подняты, и фонарь не горел. Машина загромыкала по настилу, звякнули рельсы.

Паренек встрепенулся, что-то пощупал у пояса под курткой, небрежно надетой на грязную гимнастерку с оторванными пуговицами, и сказал:

– Отсюда дойду... Спасибо за доброту.

Он привстал, и Вале показалось, что в оттопыренных карманах его куртки и брюк лежат какие-то тяжелые предметы.

– Не хотел Степку будить, – сказал он, снова приблизив к Вале смеющиеся смелые глаза свои. – А проснется, скажи, что Сергей Тюленин просит его зайти.

– Я не почтовая контора и не телефонная станция, – сказала Валя.

Искреннее огорчение изобразилось на лице Сергея Тюленина. Он так огорчился, что не нашелся, что ответить, губы его, казалось, еще сильнее припухли. И, не сказав ни слова, он соскочил с машины и исчез во тьме.

И Вале вдруг стало грустно, что она так огорчила его. Обиднее всего было то, что, после того как она так сказала ему, она действительно не могла уже рассказать все это Степе и исправить несправедливость, допущенную по отношению к этому, внезапно возникшему и внезапно исчезнувшему, отважному парню. Так он и запомнился ей с этими смеющимися смелыми глазами, которые после ее грубых слов стали печальными, и с этими словно бы подпухшими тонкими губами.

Весь город лежал во тьме, нигде – ни в одном из окон, ни в пропускных будках в шахты, ни на переездах – не видно было даже проблеска света. В похолодевшем воздухе явственно ощущался запах тлеющего угля из еще дымившихся шахт. Ни одного человека не видно было на улицах, и так странно было не слышать привычного шума труда в районах шахт и на ветке. Одни собаки взирали.

Сережа Тюленин, бесшумной, быстрой кошачьей походкой идя вдоль ветки железной дороги, поравнялся с огромным пустырем, где в обычное время помещался рынок, обогнул пустырь и, скользнув мимо слепившихся, как соты, темных мазанок Ли Фан-чи, окруженных вишенником, тихо подошел к мазанке отца, белевшей среди таких же глиняных, но небеленых, крытых соломой дворовых клетушек-пристроек.

Без стука притворив за собой калитку, оглядевшись, он шмыгнул в чулан и через несколько секунд вышел с лопатой и, хорошо разбираясь в темноте в расположении отцовского хозяйства, через минуту уже был на огороде, возле кустов акаций, темневших вдоль плетня.

Он выкопал ямку меж двух кустов, довольно глубокую, – грунт был рыхлый, – и выложил на дно ее из карманов брюк и курточки несколько гранат-лимонок и два пистолета «браунинга» с патронами к ним. Каждый из этих предметов в отдельности был завернут в тряпочку, и он так их и положил в тряпочках. После того он засыпал ямку землей, разрыхлил и разровнял почву руками, чтобы утреннее солнце, подсушив землю, скрыло следы его работы, аккуратно обтер лопату полкой куртки и, вернувшись во двор и поставив лопату на место, тихо постучался в дверь мазанки.

Щелкнула щеколда двери из горенки в сенцы, и мать, – он узнал ее по грузной походке, – шаркая босыми ногами по земляному полу, подошла к наружной двери.

– Кто? – спросила она заспанным тревожным голосом.

– Открой, – тихо сказал он.

– Господи боже мой! – тихо, взволнованно сказала мать. Слышно было, как она, волнуясь, не могла нащупать крючок дрожащей рукой. Но вот дверь отворилась.

Сережка переступил порог и, чувствуя в темноте знакомый теплый запах заспанного тела матери, обнял это ее большое родное тело и прижался головой к плечу ее. Некоторое время они так, молча, постояли в сенях, обнявшись.

– Где тебя носило? Мы думали, може, эвакуировался, може, убит. Все уже вернулись, а тебя нет. Хоть бы передал с кем, что с тобой, – ворчливым шепотом заговорила мать.

Несколько недель тому назад Сережка в числе многих подростков и женщин был направлен из Краснодона, как направляли и из других районов области, на рытье окопов и строительство укреплений на подступах к Ворошиловграду. Все краснодонцы вернулись уже неделю тому назад, а Сережка не вернулся и ни с кем не передал, что с ним и где он, – об этом и говорила мать.

– Задержался в Ворошиловграде, – сказал он обычным своим голосом.

– Тише... Деда разбудишь, – сердито сказала мать. Дедом она называла своего мужа, отца Сережки. У них было одиннадцать детей, и уже были внуки в возрасте Сережки. – Он тебе задаст!..

Сережка пропустил это замечание мимо ушей: он знал, что отец уже никогда не задаст ему. Отец, старый забойщик, был разбит почти до смерти сорвавшейся с прицепа груженной углем вагонеткой на Анненском руднике на станции Алмазной. Двужильный старик выжил и после того немало еще поработал на всяких наземных работах, но в последние годы его совсем скрючило. Он еле двигался и даже, когда сидел, подставлял под плечо специально сделанную, с мягкой, обшитой кожей обивкой клюшку, потому что тело его совсем не держала поясница.

– Есть хочешь? – спросила мать.

– Хочу, да сил нет, в сон кидает.

Ступая на цыпочках, Сережка прошел через проходную горенку, в которой храпел отец, в красную горницу, где спали две его старшие сестры – Даша с ребенком полутора лет, – ее муж был на фронте, – и любимая, младшая из сестер, Надя.

Кроме этих сестер, в Краснодоне жила еще отдельно от семьи сестра Феня с детьми; ее муж тоже был на фронте, а остальных детей Гаврилы Петровича и Александры Васильевны жизнь разбросала по всему свету.

Сережка прошел в душную горницу, где спали сестры, добрался до койки, сбрасывал куда попало свою одежду, оставшись в одних трусах, и лег поверх одеяла, не заботясь о том, что он не мылся целую неделю.

Мать, шаркая босыми ногами по земляному полу, вошла в горницу и, нащупав одной рукой его жесткую курчавую голову, другой рукой сунула ему ко рту большую горбушку свежесдобитого пахучего домашнего хлеба. Он схватил хлеб, быстро поцеловал матери руку и, несмотря на усталость, возбужденно глядя во тьму своими острыми глазами, стал жадно жевать эту чудесную пшеничную горбушку.

Какая необыкновенная была эта девушка на грузовике! А уж характер! А глаза какие!.. Но ей он не понравился, это факт. Если бы она знала, что он пережил за эти дни, что он испытал! Если бы можно было поделиться этим хотя бы с одним человеком на свете! Но как хорошо дома, как славно очутиться в своей постели, в обжитой горенке, среди родных и жевать этот пахучий пшеничный хлеб домашней, материнской выпечки! Казалось, только он коснется постели, он уснет как убитый и будет спать по меньшей мере двое суток подряд, но уснуть невозможно без того, чтобы хоть кто-нибудь не узнал, что он испытал. Если бы та девчонка со своими косами узнала! Нет, он правильно поступил, ничего не сказав ей. Бог ее знает, чья эта девчонка и что она за такое! Возможно, он расскажет все завтра Степке Сафонову и, кстати, узнает у него, что это за девчонка. Но Степка – болтун. Нет, он расскажет все только Витьке Лукьянченко, если тот не уехал... Но зачем же ждать до завтра, когда все, решительно все можно рассказать сейчас же сестре Наде!

Сережка бесшумно соскочил с койки и очутился у кровати сестры с этим куском хлеба в руке.

– Надя... Надя... – тихо говорил он, присев на кровать возле сестры и пальцами поталкивая ее в плечо.

– А?... Что?... – испуганно спросила она спросонья.

– Тсс... – он приложил свои немытые пальцы к ее губам.

Но она уже узнала его и, быстро поднявшись, обняла его голыми горячими руками и поцеловала куда-то в ухо.

– Сережка... жив... Милый братик... жив... – шептала она счастливым голосом. Лица ее не видно было, но Сережка представлял себе ее счастливо улыбающееся лицо с маленькими, румяными со сна скулами.

– Надя! Я с самого тринадцатого числа еще не ложился, с самого тринадцатого с утра и до сегодняшнего вечера все в бою, – взволнованно говорил он, жуя в темноте хлеб.

– Ой ты! – шепотом воскликнула Надя, тронула его за руку и в нижней сорочке села на постели, поджав под себя ноги.

– Наши все погибли, а я ушел... Еще не все погибли, как я уходил, человек пятнадцать было, а полковник говорит: «Уходи, чего тебе пропадать». Сам он был уже весь израненный, и лицо, и руки, и ноги, и спина, весь в бинтах, в крови. «Нам, – говорит, – все равно погибнуть, а тебе зачем?» Я и ушел... А теперь уж, я думаю, никого из них в живых нет.

– Ой ты-ы... – в ужасе прошептала Надя.

– Я, перед тем как уйти, взял саперную лопату, снес с убитых оружие в окопчик, там, за Верхнедуванной, – там два холмика таких и роща слева, место приметное, – снес винтовки, гранаты, револьверы, патроны и все закопал, а потом ушел. Полковник меня поцеловал, говорит: «Запомни, как звать меня, – Сомов. Сомов, Николай Павлович. Когда, – говорит, – немцы уйдут или ты к нашим попадешь, отпиши в Горьковский военкомат, чтобы сообщили семье и кому следует, что, мол, погиб с честью...» Я сказал...

Сережка замолчал и некоторое время, сдерживая дыхание, ел мокрый соленый хлеб.

– Ой ты-ы... – всхлипывала Надя.

Да, много, должно быть, пережил ее братик. Она уже не помнила, когда он и плакал, лет с семи, – этакий кремешок.

– Как же ты попал к ним? – спросила она.

– А вот как попал, – сказал он, опять оживившись, и залез с ногами на койку сестры. – Мы еще укрепления кончали, а части из-под Лисичанска отошли, заняли тут оборону. Наши краснодонцы по домам, а я к одному старшему лейтенанту, командиру роты, – прошу зачислить меня. Он говорит: «Без командира полка не могу». Я говорю: посодействуйте. Очень стал просить, тут меня один старшина поддержал. Бойцы смеются, а он – ни в какую. Пока мы тут спорились, начала бить артиллерия немецкая, – я к бойцам в блиндаж. До ночи они меня не отпускали, жалели, а ночью велели уходить, а я отлез от блиндажа и остался лежать за окопом. Утром немцы пошли наступать, я обратно в окоп, взял у убитого бойца винтовку и давай палить, как все. Тут мы несколько суток все отбивали атаки, меня уже никто не прогонял. Потом меня полковник узнал, сказал: «Когда б мы сами не смертники, зачислили бы тебя в часть, да, – говорит, – жалко тебя, тебе еще жить да жить». Потом засмеялся, говорит: «Считай себя вроде за партизана». Так я с ними и отступал почти до самой Верхнедудуванной. Я фрицев видел вот как тебя, – сказал он страшно пониженным, свистящим шепотом. – Я двоих сам убил. Может, и больше, двоих – сам видел, что убил, – сказал он, искривив тонкие губы. – Я их, гадов, буду теперь везде убивать, где ни увижу, помани мое слово...

Надя знала, что Сережка говорит правду, – и то, что убил двух фрицев и что еще будет убивать их.

– Пропадешь ты, – сказала она со страхом.

– Лучше пропасть, чем ихние сапоги лизать или просто так небо копытить.

– Ай-я-яй, что с нами будет, – с отчаянием сказала Надя, с новой силой представив себе, что ждет их уже завтра, может быть, уже этой ночью. – У нас в госпитале более ста раненых неходячих. С ними и врач остался, Федор Федорович. Вот мы ходим возле них и все трусимся, поубивают их немцы, – с тоской сказала она.

– Надо, чтобы их жители поразбирали. Как же вы так? – взволновался Сережка.

– Жители! Кто сейчас знает, кто чем дышит? У нас на Шанхае вон, говорят, какой-то неизвестный человек прячется у Игната Фомина, а кто его знает, что за человек? Может, он немец, все заранее выглядит? Фомин хорошего человека прятать не станет.

Игнат Фомин был один из шахтеров, за свою работу не раз премированный и отмеченный в газетах. Но здесь, в поселке, где жили главным образом люди шахтерского труда, среди которых немало было стахановцев, Игнат Фомин слыл за человека темного и выскочку. Он появился здесь в начале тридцатых годов, когда много неизвестных людей появилось в Краснодоне, как и во всем Донбассе, и построилось на Шанхае. И разные слухи ходили о нем, о Фомине. Об этом и говорила сейчас Надя.

Сережка зевнул. Теперь, когда он все рассказал и доел хлеб, он почувствовал себя окончательно дома, и ему захотелось спать.

– Ложись, Надя...

– А я и не усну теперь.

– А я усну, – сказал Сережка и перебрался на свою койку.

И только он коснулся подушки, перед ним встали глаза той девушки на грузовике. «Все равно я тебя найду», – сказал ей Сережка, улыбнулся, и все перед ним и в нем самом ушло во тьму.

Глава 12

Как бы ты повел себя в жизни, читатель, если у тебя орлиное сердце, преисполненное отваги, дерзости, жажды подвига, но сам ты еще мал, бегаешь босиком, на ногах у тебя цыпки, и во всем, решительно во всем, к чему рвется твоя душа, человечество еще не поняло тебя?

Сережка Тюленин был самым младшим в семье и рос как трава в степи. Отец его, родом из Тулы, вышел на заработки в Донбасс еще мальчишкой и за сорок лет шахтерского труда обрел те черты наивной, самолюбивой, деспотической гордости своей профессией, которые ни одной из профессий не свойственны в такой степени, как морякам и шахтерам. Даже после того, как он вовсе перестал быть работником, он все еще думал, Гаврила Петрович, что он главный в доме. По утрам он будил всех в доме, потому что по старой шахтерской привычке просыпался еще затемно и ему было скучно одному. А если бы ему и не было скучно, он все равно будил бы всех оттого, что его начинал душить кашель. Кашлял он с момента пробуждения не менее часа, он задыхался от кашля, харкал, отплевывался, и что-то страшно хрипело, свистело и дудело в его груди, как в испорченной фисгармонии.

А после того он весь день сидел, опершись плечом на свою обитую кожей рогатую клюшку, костлявый и тощий, с длинным носом горбинкой, который когда-то был большим и мясистым, а теперь стал таким острым, что им можно было бы разрезать книги, с впалыми щеками, поросшими жесткой седоватой щетиной, с могучими прямыми, воинственными усами, которые, храня первозданную пышность под ноздрями, постепенно сходили до предельной упругой тонкости одного волоса и торчали в разные стороны как пики, – с глазами, выцветшими и пронзительными под сильно кустистыми бровями. Так он сидел то у себя на койке, то на порожке мазанки, то на чурке у сарайчика, опершись на свою клюшку, и всеми командовал, всех поучал, резко, отрывисто, грозно, заходясь в кашле так, что хрип, свист и дудение разносились по всему Шанхаю.

Когда человек в еще нестарые годы лишается трудоспособности более чем наполовину, а потом и вовсе впадает вот в этакое положение, попробуйте вырастить, научить профессии и пустить в дело трех парней и восемь девок, а всего одиннадцать душ!

И вряд ли то было бы под силу Гавриле Петровичу, когда бы не Александра Васильевна, жена его, могучая женщина из орловских крестьянок, из тех, кого называют на Руси «бой-баба», – истинная Марфа Посадница. Была она еще и сейчас нерушимо крепка и не знала болезней. Не знала она, правда, и грамоты, но, если надо было, могла быть и грозна, и хитра, и молчалива, и речиста, и зла, и добра, и лстива, и бойка, и въедлива, и если кто-нибудь по неопытности ввязывался с ней в свару, очень быстро узнавал, почем фунт лиха.

И вот все десять старших уже были при деле, а Сережка, младший, хотя и учился, а рос, как трава в степи: не знал своей одежды и обуви, – все это переделывалось, перешивалось в десятый раз после старших, и был он закален на всех солнцах и ветрах, и дождях и морозах, и кожа у него на ступнях залубенела, как у верблюда, и какие бы увечья и ранения ни наносила ему жизнь, все на нем зарастало вмиг, как у сказочного богатыря.

И отец, который хрипел, свистел и дудел на него больше, чем на кого-либо из детей своих, любил его больше, чем кого-либо из остальных.

– Отчаянный какой, а? – с удовольствием говорил он, поглаживая страшный ус свой. – Правда, Шурка? – Шурка – это была шестидесятилетняя подруга его жизни, Александра Васильевна. – Смотри, пожалуйста, а? Никакого бою не боится! Совсем как я мальцом, а? Кха-кха-кхарак-ха... – И он снова кашлял и дудел до умопомрачения.

У тебя орлиное сердце, но ты мал, плохо одет, на ногах у тебя цыпки. Как бы ты повел себя в жизни, читатель? Конечно, ты прежде всего совершил бы подвиг? Но кто же в детстве не мечтает о подвиге, – не всегда удается его свершить.

Если ты ученик четвертого класса и выпускаешь на уроке арифметики из-под парты воробьев, это не может принести тебе славы. Директор – в который уж раз! – вызывает родителей, то есть маму-Шурку, шестидесяти лет. Дед, Гаврила Петрович, – с легкой руки Александры Васильевны все дети зовут его дедом, – хрипит и дудит и рад бы дать тебе подзатыльника, да не может дотянуться и только яростно стучит клюшкой, которой он даже не может пустить в тебя, поскольку она поддерживает его иссохшее тело. Но мама-Шурка, вернувшись из школы, отвечает тебе полнокровную затрещину, которая горит на щеке и ухе несколько суток, – с годами сила мамы-Шурки только прибывает.

А товарищи? Что товарищи! Слава, недаром говорят, – дым. На завтра твой подвиг с воробьями уже забыт.

В свободное время лета можно добиться того, чтобы ты стал чернее всех, лучше всех нырял и плавал и ловчее всех ловил руками шурят под корягами. Можно, завидев идущую вдоль берега стайку девочек, разогнаться с берега, с силой оттолкнуться от обрывистого края, смуглой ласточкой пролететь над водой, нырнуть и в тот момент, когда девочки, делая вид, что им все равно, с любопытством ожидают, когда ты вынырнешь на поверхность, приспустить под водой трусы и неожиданно всплыть вверх попкой, белой румяной попкой, единственным не загоревшим местом на всем теле.

Ты испытываешь мгновенное удовлетворение, увидев мелькающие розовые пятки и развевающиеся платица словно сдунутых с берега девочек, прыскающих на бегу в ладошки. Ты получишь возможность небрежно принять восторг ребят-сверстников, загорающих вместе с тобой на песке. Ты на все времена завоевываешь поклонение совсем маленьких мальчишек, которые будут ходить за тобой стаями, во всем подражать тебе и повиноваться каждому твоему слову или движению пальца. Давно уже прошли времена римских цезарей, но мальчишки тебя обожествляют.

Но этого тебе, конечно, мало. И в один из дней, ничем как будто не отличных от других дней твоей жизни, ты внезапно выпрыгиваешь со второго этажа школы во двор, где все ученики школы предаются обычным во время перерыва невинным развлечениям. В полете ты испытываешь краткое, как миг, пронзительное удовольствие – и от самого полета, и от дикого, полного ужаса и, одновременно, желания заявить о себе в мире, визга девочек в возрасте от первого класса до десятого. Но все остальное несет тебе только разочарования и лишения.

Разговор с директором очень тяжел. Дело явно идет к исключению тебя из школы. Ты вынужден быть груб с директором оттого, что ты виноват. Впервые директор сам приходит в мазанку твоих родителей на Шанхае.

– Я хочу знать условия жизни этого мальчика. Я хочу, наконец, знать причины всего этого, – говорит он значительно и вежливо, как иностранец. И в голосе его звучит оттенок упрека родителям.

И родители – мать с мягкими, круглыми руками, которые она не знает, куда деть, потому что она только что таскала ими из печи чугуны и руки черны от сажи, а на матери даже нет передника, чтобы обтереть их, и отец, до крайности растерявшийся, примолкший и пытающийся встать перед директором, опираясь на свою клюшку, – родители смотрят на директора так, будто они действительно во всем виноваты.

А когда директор уходит, впервые никто не ругает тебя, от тебя словно бы все отворачиваются. Дед сидит, не глядя на тебя, и только изредка побрякивает, и усы у него вовсе не воинственные, а довольно унылые усы человека, сильно побитого жизнью. Мать все хлопочет по дому, шаркает ступнями по земляному полу, стучит то там, то здесь, и вдруг ты видишь, как, склонившись к отверстию русской печки, она украдкой смахивает слезу черной от сажи, прекрасной, старческой, круглой рукою своею. И они словно говорят всем видом своим, отец и мать: «Да ты взглядишь в нас, ты взглядишь, взглядишь в нас, кто мы, какие мы!»

И ты впервые замечаешь, что старые родители твои давно уже не имеют что надеть к празднику. В течение почти всей своей жизни они не едят за общим столом с детьми, а едят особняком, чтобы их не было видно, потому что они не едят ничего, кроме черного хлеба, картошки и гречневой каши, лишь бы детей, одного за другим, поднять на ноги, лишь бы теперь ты, младший в семье, стал образованным, стал человеком.

И слезы матери пронзают твое сердце. И лицо отца впервые кажется тебе значительным и печальным. И то, что он хрипит и дудит, это вовсе не смешно – это трагично.

Гнев и презрение дрожат в ноздрях у сестер, когда то одна, то другая вдруг взметнет на тебя взгляд над вязаньем. И ты груб с родителями, груб с сестрами, а ночью ты не можешь спать, тебя гложет одновременно и чувство обиды, и сознание своей преступности. И ты беззвучно утираешь невымытой ладошкой две скупые слезинки, выкатившиеся на твои маленькие жесткие скулы.

А после этой ночи оказывается, что ты повзрослел.

Среди ряда печальных дней всеобщего молчания и осуждения твоему очарованному взору открывается целый мир невысказанных, баснословных подвигов.

Люди проплывают двадцать тысяч лье под водой, открывают новые земли; они попадают на необитаемые острова и все создают себе заново собственными руками; они взбираются на высочайшие вершины мира; люди попадают даже на луну; они борются со страшными штормами в океанах, карабкаясь на раскачиваемые ветром мачты по марсам и салингам; на своих кораблях они проскальзывают над острыми рифами, выливая на бушующие волны бочки ворвани; люди переплывают океан на плоту, томясь от жажды, ворочая пересохшим, распухшим языком свинцовую пулю во рту; они переносят самумы в пустыне, сражаются с удавами, ягуарами, крокодилами, львами, слонами и побеждают их. Люди совершают эти подвиги из-за наживы или для того, чтобы лучше устроить жизнь свою, или из страсти к приключениям, или из чувства товарищества, верной дружбы, для спасения попавшей в беду любимой девушки, а то просто совсем бескорыстно! – для блага человечества, для славы родины, для того, чтобы вечно сиял на земле свет науки, – Ливингстон, Амундсен, Седов, Невельской.

А какие подвиги совершают люди на войне! Люди воюют тысячи лет, и тысячи людей навеки прославили свои имена в войнах. Повезло же тебе родиться в такое время, когда войны нет. Ты живешь в местах, где порастают седой травой братские могилы воинов, сложивших головы за то, чтобы ты жил счастливо, и до сегодняшних дней шумит слава полководцев тех великих лет. Что-то мужественное и вдохновенное, как песня на походе, звучит в душе твоей, когда ты, забыв о ночном часе, летишь по страницам их биографий. Тебе хочется снова и снова возвращаться к ним, запечатлеть в душе облик этих людей, и ты рисуешь их портреты, – нет, зачем говорить неправду, ты сводишь их портреты при помощи стекла на бумагу, а потом растушевываешь их по своему разумению мягким черным карандашом, намусливая его для большей силы и выразительности так, что к концу работы язык у тебя весь черный и его не оттереть даже пемзой. И портреты эти до сей поры висят над твоей постелью.

Дела и подвиги этих людей обеспечили жизнь твоему поколению и останутся навеки в памяти человечества. А между тем это люди такие же простые, как ты. Михаил Фрунзе, Клим Ворошилов, Серго Орджоникидзе, Сергей Киров, Сергей Тюленин... Да, может быть, и его имя, рядового комсомольца, стало бы в ряд с этими именами, если бы он успел проявить себя. Как, на самом деле, увлекательна и необыкновенна была жизнь этих людей! Они изведали царское подполье. Их выслеживали, сажали в тюрьмы, высылали на север, в Сибирь, но они бежали снова и снова, и снова вступали в бой. Серго Орджоникидзе бежал из ссылки. Михаил Фрунзе бежал из ссылки два раза. Сталин бежал из ссылки шесть раз. За ними сначала шли единицы, потом сотни, потом сотни тысяч, потом миллионы людей.

Сергей Тюленин родился, когда незачем идти в подполье. Он ниоткуда не бежал, и бежать ему некуда. Он выпрыгнул из окна второго этажа школы, и это было просто глупо, как это теперь окончательно видно. И идет за ним в жизни только один Витка Лукьянченко.

Но нельзя терять надежды. Мощные льды, сковавшие просторы Северного Ледовитого океана, сдавили корпус «Челюскина». И страшен был в ночи этот треск корабля, услышанный всей страной. Но люди не погибли, они высадились на лед. Весь мир следит за тем, будут ли они спасены. И они спасены. Есть на свете люди с орлиным сердцем, полным отваги. Это простые люди, такие же, как ты. Они пробираются на самолетах к пострадавшим сквозь пургу и мороз, они вывозят их, подвязывая к крыльям самолетов, – это первые герои Советского Союза.

Чкалов! Он такой же простой человек, как и ты, но имя его гремит на весь мир как вызов. Перелет через Северный полюс в Америку – мечта человечества! Чкалов. Громов. А папанинцы на льдине?

Так идет жизнь, полная мечтаний и обыденного труда. По всей советской земле и в самом Краснодоне немало людей, простых, как и ты, но отмеченных подвигами и славой, – такими, о которых раньше не писали в книгах. В Донбассе, и не только в Донбассе, каждый человек знает имя Никиты Изотова, Стаханова. Любой пионер может сказать, кто такая Паша Ангелина, и кто Кривонос, и кто Макар Мазай. И все люди относятся к ним с уважением. И отец всегда просит читать ему те места в газетах, где говорится об этих людях, и потом долго и непонятно хрипит и дудит, и видно, что ему горько на душе оттого, что он стар и что его подшибла вагонетка. Да, он много принял на свои плечи труда в жизни, Гаврила Тюленин, «дед», и Сережка понимает, как ему, деду, тяжело, что он уже не может теперь встать в ряд с этими людьми.

Слава этих людей – это подлинная слава. Но Сережка еще мал, должен учиться. Все это придет к нему когда-нибудь потом, там, во взрослой жизни. А вот для свершения подвигов, подобных подвигам Чкалова или Громова, он вполне созрел, – он чувствует это сердцем, что он для них вполне созрел. Беда в том, что только он один на свете понимает это, и больше никто. Среди человечества он одинок с этим ощущением. Иногда он даже ловит на себе такие взгляды: а уж не залезет ли этот шустрый парнишка в карман ко мне?

Таким застала его война. Одну за другой делает он попытки поступить в специальную военную школу, – он должен стать летчиком. Его не принимают.

Все школьники идут на полевые работы, а он, уязвленный в самое сердце, идет работать на шахту. Через две недели он уже стал в забой и рубил уголь наравне со взрослыми.

Он сам не знал, как многого он достиг во мнении людей. Он выходил из клетки чумазый, только светлые глаза да белые маленькие зубы сверкали на черном лице его; он шел вместе со взрослыми, так же солидно, враскачку, шел под душ, фыркал, кричал, как отец, и неторопливо шел домой уже босой: обутка у него была казенная.

Он возвращался поздно, когда все уже пообедали, – его кормили отдельно. Он был взрослый человек, мужчина, работник.

Александра Васильевна вынимала из печи чугунок с борщом и наливала ему полную миску прямо из чугунка, который она придерживала обеими круглыми руками в тряпице. Пар валил от борща, и никогда еще не казался таким вкусным пшеничный хлеб домашней выпечки. Отец смотрел на сына, поблескивая из-под кустистых бровей своими пронзительными выцветшими глазами, пошевеливая усами. Он не дудел и не кашлял, он спокойно разговаривал с сыном, как с работником. Все интересовало отца: как идут дела в шахте, кто сколько вырубил? Отец спрашивал и про инструмент, и про спецодежду. Он говорил о горизонтах, штреках, лавах, забоях, гезенках, как о комнатах, углах, чуланчиках собственной квартиры. Старик на самом деле работал чуть ли не на всех шахтах в районе, а когда уже не мог работать, знал обо всем от своих товарищей. Знал, в каком направлении и сколь успешно движутся выработки, мог, расчерчивая воздух длинным костлявым пальцем, объяснить любому человеку расположение выработок под землей и все, что там, под землей, делается.

Зимой, прямо из школы, даже не перекусив, Сережка мчался к какому-нибудь другу – артиллеристу, саперу или минеру, или летчику; в двенадцатом часу ночи со слипающимися веками готовил уроки, а в пять часов утра уже был на стрельбище, где очередной приятель-сержант учил его вместе со своими бойцами стрелять из винтовки или из ручного пулемета. И он действительно не хуже любого бойца стрелял из винтовки и из нагана, и маузера, и «ТТ», и дегтяревского ручного, и «максима», и из ППШ, и метал гранаты и бутылки с зажигательной смесью, и умел окапываться, и сам заряжал мины, мог минировать и разминировать местность, и знал устройство самолетов всех стран света, и мог разрядить авиабомбу, – и все это вместе с ним проделывал и Витька Лукьянченко, которого он всюду таскал за собой и который относился к нему примерно так же, как сам Сережка относился к Серго Орджоникидзе или к Сергею Кирову.

Этой весной он сделал еще одну, самую отчаянную попытку попасть уже не в специальную для юношей, а в настоящую, взрослую школу летчиков. И опять потерпел поражение. Ему сказали, что он молод, пусть приходит на следующий год. Да, это было страшное поражение – вместо школы летчиков идти на строительство оборонительных сооружений перед Ворошиловградом. Но он уже решил, что не вернется домой.

Как он ловчил и изворачивался, чтобы его зачислили в часть! Он не рассказал Наде и сотовой доли тех ухищрений и унижений, через которые ему довелось пройти. И теперь он знал, что такое бой и что такое смерть, и что такое страх.

Сережка спал так крепко, что даже утренний кашель отца не разбудил его. Он проснулся, когда солнце было уже высоко; ставни в горенке были закрыты, но он всегда узнавал время по тому, как располагались на длинном полу и на предметах в горенке полосы золотистого света из щелей между ставнями. Он проснулся и сразу понял, что немцы еще не пришли. Он вышел во двор умыться и увидел деда, сидевшего на приступочке, а немного поодаль от деда Витьку Лукьянченко. Мать была уже на огороде, и сестры давно ушли на работу.

– Ага! Здорово, воин! Аника! Кха-кха-кхарак-ха... – приветствовал его дед. – Жив? По нынешним временам это самое главное. Хе-хе! Корешок твой с самой зари ждет, пока проснешься. – И дед очень дружелюбно повел усами в сторону Витьки Лукьянченко, неподвижно, покорно и серьезно смотревшего темными бархатными глазами на заспанное, с маленькими скулами и уже полное жажды деятельности лицо своего бедового друга. – То добрый у тебя корешок, – продолжал дед. – Каждое утро, чуть свет, он уже тут: «Сережка пришел? Сережка вернулся?» Сережка ему... кха-кха... один свет в окошке! – с удовольствием говорил дед.

Так устами деда подтверждалась дружеская верность. Оба они были на земляных работах под Ворошиловградом, и Витька, находившийся в полном подчинении у своего друга, хотел остаться вместе с ним, чтобы поступить в воинскую часть. Но Сережка заставил его вернуться домой – не потому, что он жалел Витьку, а тем более его родителей, а потому, что был уверен, что им не только не удастся поступить в часть двоим, но присутствие Витьки может помешать поступить в часть ему, Сережке. И Витька, до крайности огорченный и обиженный своим товарищем-деспотом, вынужден был уйти. Он не только вынужден был уйти – он вынужден был поклясться, что он ни своим родителям, ни Сережкиным, вообще никому на свете не расскажет о планах Сережки: этого требовало Сережкино самолюбие на случай неудачи. По тому, что говорил дед, ясно было, что Витька сдержал слово.

Сережка и Витька Лукьянченко сидели за мазанкой на берегу грязного, поросшего осокой ручья, за которым был выгон для скота, а за выгоном – одинокое большое здание недавно построенной и еще не пущенной в ход горняцкой бани. Они сидели на краю балки, курили и обменивались новостями. Из их товарищей по школе – оба они учились в школе имени Ворошилова – остались в городе Толя Орлов, Володя Осьмухин и Любка Шевцова, которая, по словам Витьки, вела несвойственный ей образ жизни: никуда не выходила из дому и нигде ее не

было видно. Любка Шевцова тоже училась в школе имени Ворошилова, но ушла из школы еще до войны, окончив семь классов: она решила стать артисткой и выступала в театрах и клубах района с пением и танцами. То, что Любка осталась в городе, было особенно приятно Сережке: Любка была отчаянная девка, своя в доску. Любка Шевцова была Сергей Тюленин в юбке.

Еще Витька сообщил Сережке на ухо то, что уже было известно ему: что у Игната Фомина скрывается незнакомый человек и все на Шанхае ломают голову над тем, что это за человек, и боятся этого человека. А в районе Сеняков, там, где находились склады с боеприпасами, в погребе, совершенно открытом, осталось несколько десятков бутылок с зажигательной смесью, брошенных, должно быть, в спешке. Витька робко намекнул, что неплохо было бы эти бутылки припрятать, но Сережка вдруг вспомнил что-то, посуровел и сказал, что им обоим нужно немедленно идти в военный госпиталь.

Глава 13

Надя Тюленина с той поры, когда фронт приблизился к Донбассу и в Краснодоне появились первые раненые, добровольно поступила на курсы медицинских сестер и вот уже второй год работала в военном госпитале, под который был отдан весь нижний этаж городской больницы.

Несмотря на то, что весь персонал военного госпиталя, за исключением врача Федора Федоровича, уже несколько дней как эвакуировался и большинство медицинских работников больницы, во главе со старшим врачом, тоже ушло на восток, больница продолжала жить прежним распорядком жизни. И Сережка и Витька сразу прониклись уважением к этому учреждению, когда их задержала в приемной дежурная няня-сиделка, велела обтереть ноги сырой тряпкой и ждать в вестибюле, пока она сбегает за Надей, работавшей в госпитале старшей сестрой.

Через некоторое время Надя в сопровождении няни-сиделки вышла к ним, но это уже не была та Надя, с которой Сережка беседовал ночью на ее кровати: на скуластеньком, с наведенными тонкими бровями, невзрачном лице Нади, так же как и на добром, мягком, морщинистом лице няни-сиделки, было какое-то новое, очень серьезное и строгое, глубокое выражение.

– Надя, – сминая в руках кепку и почему-то оробев перед сестрой, шепотом сказал Сережка, – Надя, надо же ребят выручать, ты же должна понимать... Мы бы с Витькой могли походить по квартирам, ты скажи Федору Федоровичу.

Надя некоторое время, раздумывая, молча смотрела на Сережку. Потом она недоверчиво покачала головой.

– Зови, зови врача или нас веди! – сказал Сережка, помрачнев.

– Луша, дай хлопцам халаты, – сказала Надя.

Няня-сиделка, достав из крашенного белой масляной краской длинного шкафа халаты, вынесла их ребятам и даже поддержала по привычке, чтобы удобнее было попасть в рукава.

– А хлопчик правду говорит, – неожиданно сказала тетя Луша, быстро жуя мягкими старушечьими губами, взглянув на Надю добрыми, на весь остаток жизни умиротворенными глазами. – Люди возьмут. Я б одного сама взяла. Кому ж не жалко ребят? А я одна, сыны на фронте, я да дочка. Живем на выселках. Немцы зайдут, скажу – сын. И всех надо упреждать, чтобы за родню выдавали.

– Ты их не знаешь, немцев, – сказала Надя.

– Немцев, правда, не знаю, зато своих знаю, – быстро жуя губами, с готовностью сказала тетя Луша. – Я вам укажу хороших людей на выселках.

Надя повела ребят светлым коридором, окна которого выходили на город. Тяжелый теплый запах гниющих застарелых ран и несвежего белья, запах, который не могли заглушить даже запахи лекарств, обдавал их всякий раз, как они проходили мимо распахнутой двери в палату. И таким светлым, обжитым, мирным, уютным вдруг показался им залитый солнцем родной город из окон больницы!

Раненые, оставшиеся в госпитале, все были лежащие, некоторые на костылях слонялись по коридору; и на всех лицах, молодых и пожилых, бритых и заросших многодневной солдатской щетиной, было все то же серьезное, строгое, глубокое выражение, что и у Нади и у няни Луши.

Едва шаги ребят зазвучали по коридору, раненые на койках вопросительно, с надеждой подымали головы, а те, что на костылях, безмолвно, но тоже со смутным оживлением в лицах провожали глазами этих двух подростков в халатах и идущую впереди них с серьезным и строгим лицом хорошо знакомую сестру Надю.

Они подошли к единственной закрытой двери в конце коридора, и Надя, не постучавшись, резким движением своей маленькой, точной руки распахнула ее.

– К вам, Федор Федорович, – сказала она, пропуская ребят.

Сережка и Витька, оба немного оробев, вошли в кабинет. Навстречу им встал высокий, широкоплечий, сухой, сильный старик, чисто выбритый, с седой головой, с резко обозначенными продольными морщинами на загорелом, темного блеска лице, с резко очерченными скулами и носом с горбинкой и угловатым подбородком, – старик был весь точно вырезан из меди. Он встал от стола, возле которого сидел, и по тому, что он сидел в кабинете один, и по тому, что на столе не было ни книги, ни газеты, ни лекарств, и весь кабинет был пуст, ребята поняли, что врач ничего не делал в этом кабинете, а просто сидел один и думал такое, о чем не дай бог думать человеку. Они поняли это еще и по тому, что врач был уже не в военном, а в штатском: в сером пиджаке, край воротника которого выступал из-под завязанного у шеи халата, в серых брюках и в нечищенных, должно быть, не своих, штиблетах.

Он без удивления и тоже очень серьезно, как Надя, как Луша и как раненые в палатах, смотрел на мальчиков.

– Федор Федорович, мы пришли помочь вам разместить раненых по квартирам, – сказал Сережка, сразу поняв, что этому человеку ничего больше говорить не нужно.

– А примут? – спросил тот.

– Найдутся такие люди, Федор Федорович, – певучим голосом сказала Надя. – Луша, няня из больницы, согласна взять одного и еще обещала людей указать, и ребята могут поспросить, да и я им помогу, да и другие из наших краснодонцев не откажут помочь. Мы бы, Тюленины, тоже взяли, да у нас помещения нету, – сказала Надя и покраснела так, что румянец ярко выступил на ее маленьких скулах. И Сережка вдруг тоже покраснел, хотя Надя сказала правду.

– Позовите Наталью Алексеевну, – сказал Федор Федорович.

Наталья Алексеевна была молодым врачом больницы, она не выехала вместе со всем персоналом из-за одинокой больной матери, жившей не в самом городе, а в шахтерском поселке Краснодоне, в восемнадцати километрах от города. Поскольку в больнице еще оставались больные и больничное имущество, лекарства, инструменты, Наталья Алексеевна, стыдившаяся перед сослуживцами, что она никуда не едет и остается при немцах, добровольно приняла на себя обязанности главного врача больницы.

Надя вышла.

Федор Федорович сел на свое место у стола, решительным, энергичным движением откинул полу халата, достал из кармана пиджака табакерку и сложенную мятую старую газету, оторвал край газеты углом и, с необыкновенной быстротой действуя одной большой жилистой рукой и губами, свернул козью ножку, которую тут же набил махоркой из табакерки, и закурил.

– Да, это выход, – сказал Федор Федорович и без улыбки посмотрел на ребят, смиренно сидевших на диване.

Он перевел глаза с Сережки на Витьку и снова обратил их на Сережку, как бы понимая, что он – главный. Витька понял значение этого взгляда, но нисколько не обиделся, потому что он тоже знал, что Сережка главный, и хотел, чтобы Сережка был главным, и гордился за Сережку.

В кабинет в сопровождении Нади вошла маленькая женщина лет двадцати восьми, но казавшаяся ребенком оттого, что в ее личике, ручках, ножках было то выражение детскости, мягкости и пухлости, которое так часто бывает обманчиво в женщине, заставляя предполагать сходный характер. Этими маленькими пухлыми ножками Наталья Алексеевна в свое время, когда отец не хотел, чтобы она продолжала образование в медицинском институте, проделала путь пешком из Краснодона в Харьков, и этими маленькими пухлыми ручками она зарабатывала себе на хлеб шитьем и стиркой, чтобы учиться, а потом, когда отец умер, на эти же ручки она приняла семью в восемь человек, и теперь члены этой семьи частью уже воевали, частью работали в других городах, частью были пристроены в ученье, и этими же ручками она бесстрашно делала операции, которые не решались делать и врачи-мужчины постарше и с

большим опытом, и на детском пухлом личике Натальи Алексеевны были глаза того прямого, сильного, безжалостного, практического выражения, которому вполне мог бы позавидовать управляющий делами какого-нибудь всесоюзного учреждения.

Федор Федорович встал ей навстречу.

– Не трудитесь, я все знаю, – сказала она, приложив пухлые ручки к груди жестом, так противоречившим этому деловому, практическому выражению глаз и ее вполне точной и немного даже суховатой манере говорить. – Я все знаю, и это, конечно, разумно, – сказала она и посмотрела на Сережку и на Витьку без какого-либо личного отношения к ним, а тоже с практическим выражением возможности их использования. Потом она снова взглянула на Федора Федоровича. – А вы? – спросила она.

Он сразу понял ее.

– Мне выгоднее всего было бы остаться при вашей больнице как местному врачу. Тогда я и им смогу помогать при всех условиях. – Все поняли, что под «ними» он подразумевал раненых. – Это возможно?

– Это возможно, – сказала Наталья Алексеевна.

– В вашей больнице меня не выдадут?

– В нашей больнице вас не выдадут, – сказала Наталья Алексеевна, приложив к груди пухлые ручки.

– Спасибо. Спасибо вам, – и Федор Федорович, впервые улыбнувшись одними глазами, протянул свою большую с сильными пальцами руку сначала Сережке, потом Витьке Лукьянченко.

– Федор Федорович, – сказал Сережка, прямо глядя в лицо врачу своими твердыми, светлыми глазами, в которых стояло выражение: «Вы и все люди можете расценить это как угодно, но все-таки я скажу это, потому что я считаю это своим долгом». – Федор Федорович, имейте в виду, что вы всегда можете рассчитывать на меня и моего товарища Витю Лукьянченко, всегда. А связь с нами можно держать вот через Надю. И еще я хочу сказать вам от себя и от товарища моего, Вити Лукьянченко, что ваш поступок, что вы остались при раненых в такое время, ваш поступок мы считаем благородным поступком, – сказал Сережка, и лоб его вспотел.

– Спасибо, – сказал Федор Федорович очень серьезно. – Если уж вы заговорили об этом, я вам скажу следующее: у человека, к какой бы профессии он ни принадлежал, любой профессии, может сложиться такое положение в жизни, когда ему не только можно, но и должно покинуть людей, которые зависели от него или которых он вел и они надеялись на него, да, может сложиться такое положение, когда ему целесообразней покинуть их и уйти. Бывает высшая целесообразность. Повторяю, у людей решительно всех профессий, даже у полководцев и политических деятелей, кроме одной – профессии врача, особенно врача военного. Врач должен находиться при раненых. Всегда. Что бы там ни было. Нет такой целесообразности, которая была бы выше этого долга. И даже военная дисциплина, приказ могут быть нарушены, если они вступают в противоречие с этим долгом. Если бы мне даже командующий фронтом приказал оставить этих раненых и уйти, я не подчинялся бы ему. Если бы товарищ Сталин сказал мне: «Принимая во внимание создавшееся положение, вам разрешается уйти», я бы не ушел. Но он никогда не сказал бы этого, потому что он лучше всех понимает это. Он единственный человек на земле, который тоже при всех условиях не имеет права уйти, только он и военный врач... Спасибо, спасибо вам, – сказал Федор Федорович и низко склонил перед ребятами свою точно вырезанную на меди, с лицом темного блеска, седую голову.

Наталья Алексеевна молча прижала к груди пухлые ручки, и в практических глазах ее, обращенных на Федора Федоровича, появилось торжественное выражение.

На совещании в вестибюле, совещании, в котором участвовали уже только Сережка, Надя, тетя Луша и Витька Лукьянченко и которое было самым коротким за последнюю четверть века, так как оно заняло ровно столько времени, сколько требовалось для того, чтобы

ребята сняли свои халаты, был намечен план действий. И, уже не в силах сдерживать себя, ребята пулей вылетели из больницы, и в глаза им ударил нестерпимый блеск июльского полдня. Неизъяснимый восторг, чувство гордости за себя и за человечество, необыкновенная жажда деятельности переполняли их существа до краев.

– Вот человек, это человек! Да? – сказал Сережка, возбужденно глядя на своего друга.

– Точно, – сказал Витька Лукьянченко и заморгал.

– А я узнаю сейчас, что за человек прячется у Игната Фомина! – вдруг без всякой видимой связи с тем, что они испытывали и говорили, сказал Сережка.

– Как ты узнаешь?

– Я предложу ему принять в дом раненого.

– Продаст, – сказал Витька очень убедительно.

– Так я и сказал ему правду! Мне лишь бы в хату зайти, – и Сережка засмеялся, хитро и весело блестя глазами и зубами. Мысль эта уже овладела им настолько, что он знал – она будет осуществлена.

Он стоял возле двери мазанки Игната Фомина со склонившимися под окнами, толстыми, окружностью в сито, подсолнухами на отдаленной от рынка окраине Шанхая.

Долго никто не отзывался на стук, и Сережка догадывался, что его пытаются разглядеть через окно, и нарочно стал так близко к двери, чтобы его нельзя было увидеть. Наконец дверь отворилась. Игнат Фомин, не отпуская скобу двери, а другой рукой опершись о косяк, нагнув голову, – он был длинный, как червь, – с искренним любопытством смотрел на Сережку маленькими, глубоко поместившимися в разнообразных и многочисленных складках кожи серенькими глазками.

– Вот спасибо, – сказал Сережка и так спокойно, словно бы ему открыли дверь именно для того, чтобы он вошел, поднырнул под опершуюся о косяк руку Игната Фомина и уже не только был в сенях, но открывал дверь в горницу, когда Игнат Фомин, не успевший даже удивиться, двинулся за ним. – Извиняйте, гражданин, – уже в горнице сказал Сережка и покорно склонил голову перед Игнатом Фоминым, который стоял перед ним в клетчатом пиджаке, в жилете с тяжелой золоченой цепочкой на животе и в клетчатых брюках, заправленных в яловочные, начищенные ваксой сапоги, – длинный, с длинным благообразным лицом скопца, принявшим, наконец, удивленное и несколько даже гневающееся выражение.

– Что тебе надо? – спросил Игнат Фомин, приподняв редкие бровки, и многочисленные и разнообразные складки вокруг его глаз пришли в очень сложное движение, как бы стремясь расправиться.

– Гражданин! – неожиданно для самого себя и для Игната Фомина приняв позу члена конвента времен Французской революции, с пафосом сказал Сережка. – Гражданин! Спасите раненого бойца!

Складки вокруг глаз Игната Фомина мгновенно прекратили свое движение, и глаза, направленные на Сережку, остановились, как кукольные.

– Нет, не я ранен, – сказал Сережка, поняв, что привело Игната Фомина в этакий столбняк. – Бойцы отступали, оставили раненого прямо на улице, аккуратно возле рынка. Мы с ребятами увидели – и прямо к вам.

На длинном благообразном лице Игната Фомина вдруг отразились знаки многих обуревавших его страстей, и он невольно покосился на затворенную дверь в другую горницу.

– Почему же, однако, прямо ко мне? – снизив голос до шипения, спросил он, со злостью вонзив глаза свои в Сережку, и складки вокруг глаз снова пришли в нескончаемо-сложное движение.

– К кому же, как не к вам, Игнат Семенович? Весь город знает, что вы у нас первый стахановец, – сказал Сережка, с необыкновенно чистыми глазами, беспощадно вонзая в Игната Фомина это отравленное копье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.